



МИРА ЯКОВЕНКО

# Агнесса

*Исповедь жены  
сталинского чекиста*

Очевидцы эпохи

Мира Яковенко

**Агнесса. Исповедь жены  
Сталинского чекиста**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Яковенко М.**

Агнесса. Исповедь жены сталинского чекиста / М. Яковенко —  
«Издательство АСТ», 2019 — (Очевидцы эпохи)

ISBN 978-5-17-107149-3

Рассказы Агнессы Мироновой, записанные Мирой Яковенко: о юности в гражданскую войну, о трех ее замужествах, о любви к видному сталинскому чекисту Сергею Миронову, о роскошной жизни верхушки НКВД, о кремлевских приемах, госдачах, курортах, об аресте, тюрьмах, этапах, лагерях.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-107149-3

© Яковенко М., 2019  
© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| На качелях судьбы                 | 6  |
| От автора                         | 22 |
| Часть I. И рай, и ад – всё рядом  | 24 |
| Мой дедушка                       | 24 |
| Мой отец                          | 26 |
| Мама. Лена                        | 30 |
| Зарницкий                         | 33 |
| Мироша                            | 49 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 52 |

# **Мира Яковенко**

## **Агнесса. Исповедь жены**

### **сталинского чекиста**

© Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», текст

© И. Щербакова, предисловие

© А. Бондаренко, оформление, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

\* \* \*

## На качелях судьбы

Трудно определить жанр этой книги. Это и не мемуары в чистом виде, и не литературная запись, и не роман. Тут всего понемногу. И дело, конечно, не в чистоте жанра – важно, что читатель имеет возможность познакомиться с замечательным текстом, который возник в результате встречи двух ярких женщин. Эта книга – их общее творение. Агнесса Миронова, рассказывающая на ее страницах свою жизнь, – удивительная героиня. И для автора редкая удача найти такой персонаж. Но и Агнесе повезло, что она встретила Миру Яковенко, – благодаря ее литературному дару эта история не только дошла до нас, но и получилась живой и интересной.

Мира Яковенко (1917–2005) – физик по образованию, не была профессиональным литератором, но, несомненно, обладала писательскими способностями. И больше всего ее интересовали судьбы людей, переживших ГУЛАГ.

Она начала записывать истории тех, кто освободился из сталинских лагерей, уже во второй половине 1950-х годов. В то время она часами просиживала в очередях в Прокуратуре СССР, в Верховном суде, в Военном трибунале, добиваясь реабилитации своих репрессированных родственников (она из семьи украинских интеллигентов-просветителей) и слушала исповеди бывших заключенных, сидевших рядом с ней у дверей служебных кабинетов. Тогда казалось, что узнать правду о сталинских тюрьмах и лагерях можно только от очевидцев (впервые заговоривших после долгих лет молчания), что секретные архивы, если в них что-то и сохранилось, не будут открыты никогда. Но было очевидно, что лишь немногие сумеют описать пережитое и вообще отважатся за это взяться. Поэтому Мира Яковенко считала, что надо успеть записать то, что свидетели смогут и захотят рассказать.

Конечно, никакого магнитофона у нее тогда не было. Но она порой даже не могла делать записи от руки в присутствии рассказчика, справедливо опасаясь, что это повлияет на степень его откровенности. Чаще всего она записывала то, что услышала, уже дома, по памяти. Позже она говорила, что ее тексты не столько исторические свидетельства, сколько литературные заметки, и главное, чего ей хотелось добиться, – чтобы получился живой рассказ и живой образ рассказчика. В случае с Агнессой Мироновой это удалось Мире Яковенко лучше всего.

В “Агнессе” нет и пафоса самооправдания, присущего многим мемуарам бывших узников ГУЛАГа, которые были написаны в начале 1960-х годов, главным образом для того, чтобы доказать, что выдвинутые против их авторов на следствии обвинения были ложными, признания добыты под пытками, что они всегда были верными партийцами, боролись с троцкизмом, с “правым уклоном” и т. д.

Агнесса Миронова не боится наговорить лишнего, вспомнить то, что кому-то могло показаться опасным. Возможно, это объяснялось тем, что в ней не было никакого фанатизма, слепой веры в коммунистическую партию, в Ленина или Сталина, и она не пережила тяжелых разочарований, не пыталась цепляться за революционные идеалы (что характерно для лагерных воспоминаний, написанных в те годы бывшими представителями партийно-номенклатурной среды).

Естественность – еще одна важная черта, украшающая рассказ героини. Она глубоко убеждена, что ниже ее достоинства казаться тем, кем она не была – образованной, живущей высокими интересами. Она притворяется “политически грамотной” только один раз – чтобы обратить на себя внимание заинтересовавшего ее мужчины.

Агнесса достаточно умна, чтобы понимать (и это вполне сочетается с ее непоколебимой женской уверенностью в себе), что у нее нет литературных способностей и она не сможет опи-

сать свою жизнь так, как ей кажется, она того заслуживает. Именно поэтому она так восхищается мемуарами Евгении Гинзбург<sup>1</sup>:

Вот “Крутой маршрут” Евгении Гинзбург... с этой рукописью не могу расстаться... Пусть что хотят делают, хоть опять сажают. Эта книга обо всех нас, таких, как я, обо мне...

Но рассказывать Агнесса умеет и делает это живо и органично, и, в общем, искренне. Благодаря этому перед нами не просто пересказ пусть даже интересной биографии, а увлекательный текст, с точно схваченной разговорной интонацией, которая передает то, чего не могут передать архивные документы: быт, характеры, представления, наконец мифы ушедшей эпохи. И всё это на фоне перипетий весьма бурной женской жизни. Вслед за героиней мы попадаем с кремлевского новогоднего приема, на котором присутствует сам Сталин, в пеший этап заключенных, замерзающих зимой в казахстанской степи; из бывшего генерал-губернаторского особняка в Новосибирске в московскую коммуналку; из салон-вагона начальника НКВД Западной Сибири в камеру Лубянской тюрьмы. Но эти “качели” советской женской судьбы 1930–1940-х годов сами по себе вовсе не уникальны. Сходная участь была у многих жен “врагов народа”, оказавшихся в сталинских лагерях после ареста и расстрела их мужей во время Большого террора в 1937–1938 годах<sup>2</sup>. Конечно, в “Агнесе” притягивает то, что героиня приоткрывает дверь в “черную комнату” советского прошлого, в мир тех, чьими руками осуществлялся этот террор. Уничтожив десятки и сотни тысяч, многие персонажи ее воспоминаний сами стали потом его жертвами. Эти организаторы репрессий не оставили ни дневниковых записей, ни воспоминаний, разве что показания на следствии – перед тем как их приговорили к расстрелу. Но и такая редкая возможность, которую дает эта книга, – познакомиться с бытом верхушки ГПУ – НКВД – не была бы столь захватывающей, если бы не образ самой Агнессы.

Она рассказывает свою историю не для того, чтобы вызвать сочувствие к себе, оказавшейся в ГУЛАГе, с расстрелянным одним мужем, посаженным на долгие годы другим. Ей самой хочется еще раз оживить в памяти те яркие и счастливые дни, когда она была такой победительной, любимой, блестящей. Агнесса ни в коей мере не идеальная героиня, она часто кажется эгоистичной и равнодушной, провинциальной и безвкусной, ищущей свою выгоду. Но она, несомненно, – личность с сильным и независимым характером. Недаром ее образованный и тонкий третий муж, горячо любившей Агнессу, так пишет о ней:

Да, она могла быть укротительницей! Ее большие глаза не были миндалевидной формы, а почти круглыми. Это придавало ее лицу какую-то жесткость, даже хищность. Тонкие сжатые губы содействовали этому впечатлению... Пожалуй, жестокость не покидала ее, когда она стремилась к цели. Но основа ее характера была независимость. Казалось, что эта женщина никогда не может быть возлюбленной и мириться с ролью компаньонки, делящей свою волю с волей другого человека, подчиняющей себя добровольно любимому человеку...

И дочь ее третьего мужа, которой нелегко было принять Агнессу в роли мачехи, отдает ей в этом смысле должное:

Она считала: женщина не должна уступать мужчине ни в чем, все, что ей дано, нужно использовать, не позволяя заглохнуть в себе, надо себя утвердить.

---

<sup>1</sup> Книга Евгении Гинзбург “Крутой маршрут” (1967–1975) – одна из лучших мемуарных книг о женской судьбе во время сталинского террора.

<sup>2</sup> Как раз из этого слоя репрессированных “жен врагов народа” до нас дошло много воспоминаний.

В Агнессе нет ханжества и лицемерия – для этого она слишком горда и уверена в себе, в своей женской привлекательности и власти над мужчинами. В момент резких поворотов судьбы она проявляет решительность, иногда даже авантюризм. Ее жизненная хватка и эгоцентризм заставляют вспомнить такие знаменитые женские литературные персонажи с сильным характером и большой долей эгоизма, как Скарлетт О’Хара из “Унесенных ветром” Маргарет Митчелл. Эти ассоциации возникают уже при чтении первых глав книги, когда в 1920 году молодых белых офицеров, поражающих сердца провинциальных барышень – Агнессы и ее сестры, сжигает, как южан в американской Атлантае, пламя гражданской войны.

\* \* \*

Но вернемся к самой истории Агнессы. Ее рассказ, состоящий из четырех частей, можно сказать, четырех “серий” (с прологом и эпилогом) – это готовый киносценарий для мелодрамы, поскольку главное в нем – это романтические увлечения, тайные свидания, замужества. Любовь всегда присутствует в ее жизни: “Я не могу без любви”, – часто повторяет она. Начало или первая часть этой мелодрамы больше всего напоминают романтические эпизоды в соответствующей эпохе стилистике немого кино.

Шестнадцатилетняя гимназистка Агнесса Аргиропуло и ее старшая сестра Лена – хорошенькие провинциальные девушки (наполовину гречанки) из российского южного города Майкопа, мечтающие только о романтических героях и страстной любви. И если бы жизнь шла своим чередом, то после нескольких влюбленностей обе они вышли бы более или менее удачно замуж, и все их “бурные страсти” не стоили бы и выеденного яйца.

Но на дворе 1918 год, в России уже бушует гражданская война, и тихий Майкоп оказывается в эпицентре ее кровавых событий. Это казачьи районы юга, где красный террор сменяется белым, а потом снова красным, вплоть до окончательной победы коммунистов. Убийства и грабежи, виселицы и расстрелы – вот тот фон, на котором разворачивается история юной Агнессы. Но в ее рассказе это лишь обстоятельства, от которых, конечно, никуда не деться, а главное – это описание первых влюбленностей и героев романов. Например, романтического красавца – белого офицера, казачьего есаула Петровского.

Я в него влюбилась без памяти... Поэтично, самозабвенно, я только и мечтала о встрече с ним! Только и искала предлогов... Вы себе только представьте. Мы гуляем с подругами в парке, с гимназистками, такими же, как я. И вдруг вдалеке вижу – идет он. Появился, приближается, и все знают – идет ко мне, к девчонке, как волшебный принц. Высокий, стройный, интересный, затянутый в белую черкеску. Подходит, здоровается со всеми, но смотрит только на меня. И мы с ним отходим и гуляем по парку, по дорожкам, по аллеям...

На прощание Агнесса потихоньку берет у Петровского на память не прядь волос, а пули из его револьвера – настоящий сувенир кровавой эпохи. Но если Петровский остался в памяти Агнессы благородным романтическим героем, которого “унес ветер” гражданской войны, то по поводу некоторых других белых офицеров, ухаживающих за местными барышнями, у нее нет иллюзий (хотя симпатии ее, конечно, на стороне белых):

Через день белый офицер, дворянин известной фамилии, поклонник Лены, повез ее на своем выезде (прекрасные лошади были у него!) кататься за железную дорогу. Он собирался поразить ее – показать ей виселицы. Вот мужчины всегда так: обязательно им нужно воевать, убивать, уничтожать, а потом еще гордятся этим.

Она становится свидетельницей и красного террора: зверски убивают добродушного старичка генерала, у которого снимала квартиру семья Агнессы:

Генерала убили, “надели”, как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так.

Пришедшие красные грабят их, “реквизируют” даже носильные вещи. И заканчивается гражданская война для Агнессы последним актом красного террора, который прямо затрагивает их семью. В 1920-м Майкоп окончательно переходит в руки красных, и новые власти сначала обещают белым офицерам, которые добровольно сдадут оружие, что их не тронут, но через некоторое время всех оставшихся в городе всё равно расстреливают.

Остался и муж Лены, он тоже был майкопский и страстно любил Лену, он не мог от нее уехать. Спокойно прожили год. И вдруг приказ: всем бывшим белым офицерам зарегистрироваться и прибыть на станцию Тихорецкую такого-то числа в такое-то время. Лена проводила мужа. До Тихорецкой ехали на лошадях. Прощаясь, он плакал. Затем Лена вернулась домой. Она мне рассказывала: ехала домой и вдруг почувствовала, что она совсем свободна. Свободна! Это была радость. Он прислал несколько открыток с дороги. Сообщил, что едут в Архангельск. Затем всё затихло. И вдруг вернулся один из увезенных. Он рассказал, что тяжело болел тифом, в бараке лежал, свернувшись на койке, лицом к стене. Его сочли умершим и оставили. А всех других офицеров увезли и расстреляли из пулемета. Так Лена узнала, что она вдова.

Поразительно буднично, отстраненно (почти цинично) звучат слова Агнессы о том, что когда Лениного мужа увозили, та почувствовала облегчение и свободу. А ведь муж Лены гибнет, по словам Агнессы, из-за любви к ее сестре. Тут отчетливо видна утрата нравственных ориентиров, которую порождает это безумное время, даже у таких далеких от политики самых обычных девушек. И у Агнессы, с одной стороны, – приятие того, что мужчины этой эпохи так или иначе участвуют в ее кровавых событиях, – и это “нормально”. С другой стороны, как совместить свою влюбленность в них с этим знанием? Поэтому Агнесса и прибегает к приведенному выше объяснению: *Вот мужчины всегда так: обязательно им нужно воевать, убивать, уничтожать, а потом еще гордятся этим.* Она фактически оправдывает своих романтических героев – с помощью некоего обобщения по поводу вечной мужской природы. На самом деле речь идет именно о тех мужчинах, которые в такие эпохи поднимаются наверх.

Агнесса достаточно хитро и тонко дает понять через историю своей сестры Лены: ее отношение к мужу, смерть которого она воспринимает так равнодушно, – это отношение к побежденным. Собственно, расставанием с проигравшими и заканчивается первая серия этого “фильма”. Сестрам (главное – Агнессе) хочется быть на стороне победителей. Поэтому и спустя 15 лет после гражданской войны ее счастливая женская жизнь разворачивается на фоне пусть не такого явного, но не менее страшного террора. Ведь самый главный и самый любимый ее мужчина тоже относится к победителям: он становится одним из очень крупных организаторов сталинских репрессий.

Но пока еще на дворе 1921 год, гражданская война закончилась победой большевиков, и наступает эпоха НЭПа, утверждения и становления советской бюрократии на фоне разрешенной частной торговли с одной стороны, и разрухи, безработицы, с другой. Люди в условиях труднейшего советского быта залечивают раны, нанесенные гражданской войной. Эта часть рассказа Агнессы уже не напоминает мелодраму в духе немого кино с красавцами белыми офицерами, а скорее жанровую бытовую историю, знакомую по советской литературе 1920-х – 30-х годов. Агнесса и ее семья из мелкой, но всё-таки буржуазии, они к победителям не

принадлежат и продолжают жить по законам и правилам прежней эпохи. Агнесса окончила гимназию и хочет удачно выйти замуж (она вовсе не похожа на “передовых” девушек, партийных и комсомольских активисток, она не стремится учиться, не торопится искать работу и вообще никак не участвует в новой жизни). И поклонник, который у нее появляется, тоже в духе НЭПа – совершенно неромантический персонаж – некий Абрам Ильич, который вроде бы и ходит в военной форме, но скорее похож на мелкого нэпмана, прокладывающего путь к ее сердцу самым простым способом – с помощью подарков. Но Абрам Ильич для нее не партия, ей хочется чего-то более интересного и перспективного. Тут-то и появляется Иван Зарницкий, за которого Агнесса выходит замуж в 1922 году, в 19 лет. Она снова подробно описывает свои первые свидания – на этот раз с красным командиром, но романтики и красоты здесь поменьше, чем с белыми офицерами, – эпоха не та. Всё бедно и скудно и, по выражению Агнессы, “запаршивлено, как всегда бывало при советской власти”. И хотя на свидания с Зарницким Агнесса ходит, конечно, в шляпке, но краска на ней негодная, под дождь попадать нельзя:

Когда ливень стих, Зарницкий пошел меня провожать. А на мне была красная шляпка, она линяла. Зарницкий был в белой рубашке (в гражданском), он взял меня под руку, а я склонилась к нему, и краска со шляпки стекала на его рубашку. Только утром он заметил, что рубашка его вся в красных разводах.

Эта линяющая бедная шляпка начала 1920-х становится символом неудачного первого брака Агнессы.

Ее первый муж – Зарницкий – как и Агнесса, не из пролетариев, и это их поначалу объединяет. Он старше ее на 9 лет, из семьи священника, но несмотря на свое происхождение, сделал карьеру во время гражданской войны. На стороне красных воевало – особенно штабными офицерами – много так называемых военспецов. В 1921 году у него большая должность – он начальник штаба погранвойск Северного Кавказа. И хотя Зарницкий порывает со своей семьей, идет на службу к большевикам, он и по своему поведению и своим поступкам человек прежних устоев. Он старомодно ухаживает за Агнессой, церемонно делает предложение, соглашается и на венчание, на приданое и свадьбу.

Всё описание поездки Агнессы на свадьбу в Армавир и жизни в реквизированном особняке предстает в пошло-мещанском духе той эпохи, напоминающем по атмосфере рассказы Михаила Зощенко:

Сию, вся ушла в свои мечты. Представляю, как он меня встретит, как я предстану перед ним в черном элегантном пальто и в черной шляпке, в облегающих руку черных перчатках (подарок Абрама Ильича), надушенная французскими духами (тоже подарок Абрама Ильича). Мама дала мне в приданое и персидский ковер, купленный на деньги Абрама Ильича.

Теперь Агнесса замужем за красным командиром, который содержит ее и всю их семью. Она толком нигде не работает, да и не учится, в основном занята нарядами, брак их бездетен. Но Агнесса очень скоро начинает понимать, что Зарницкий – при всей его порядочности – не тот, кто ей нужен, не мужчина ее жизни. Это каким-то естественным образом совпадает с тем (и тут чутье ее снова не подводит), что карьера его рушится, потому что наступает время совсем других людей: наглых, хватких, корыстных, на всё готовых.

Таких, как Михаил Фриновский, в то время подчиненный Зарницкого, а спустя 12 лет всесильный заместитель наркома Ежова, один из главных организаторов массовых репрессий 1937–1938 годов.

Фриновский Михаил – лицо широкое, как блин, глазки маленькие, жесткие – был не промах насчет вещей. Иван Александрович недоумевал, что это за люди – всё берут, всё тащат, совсем не то, что прежние товарищи Ивана Александровича, да и сам он, который спал до моего приезда на рваной простыне... У Ивана Александровича в кабинете стоял прекрасный письменный стол на львиных лапах, из реквизированных, конечно. На столе – ценный хрустальный письменный прибор. Иван Александрович, бывало, и внимания на них не обращает – ну, поставили ему на рабочее место, и пускай. Фриновский пристал к нему – подари мне этот прибор. Иван Александрович отдал с недоумением. Потом и письменный стол перекочевал к Фриновскому.

Конечно, Фриновский забирает не только стол, но и квартиру, которая предназначалась Зарницкому, да и его место. Он и за Агнессой приударить не прочь, но она с самого начала испытывает к нему антипатию.

Зарницкий и сам понимает, что его вытесняют неслучайно, формирующаяся сталинская система требует совсем других людей. Он уходит из ОГПУ, становится обычным советским служащим – и, конечно, в результате теряет блестящую Агнессу. Наградой ему служит лишь редкое в ту эпоху счастливое обстоятельство, что он впоследствии (уже в 1950-е) умирает дома и собственной смертью. (В отличие от Фриновского и его соратника и подчиненного Сергея Миронова, ради которого Зарницкого бросает Агнесса.) И Агнесса сохранила на всю жизнь к нему уважение – за его честность и порядочность.

\* \* \*

На фоне сравнительно благополучной, но унылой и скудной жизни с Зарницким начинается новая “серия” – роман и потом брак Агнессы с главной любовью ее жизни, чекистом Сергеем Мироновым. В истории Агнессы это самые яркие и счастливые страницы. Начинается их роман почти как в советских фильмах 1930-х. Миронова (настоящее его имя Мирон Король)<sup>3</sup>, в середине 1920-х начальника одного из отделов ОГПУ на Северном Кавказе, направляют проводить политзанятия среди жен красных командиров; приходится посещать их и Агнессе, хотя это ее совершенно не интересует. Она является, как и все остальные, для галочки, чтобы не подвести мужа, но, увидев Миронова, впервые в жизни стремится произвести впечатление политически “подкованной”, чтобы обратить на себя его внимание. Уж очень он ей понравился:

Породистое лицо, высокий лоб, изогнутые брови, чуть прищуренные улыбающиеся глаза необычной формы и эти удивительные ресницы – мохнатые, длиннющие, загнутые. На щеках

---

<sup>3</sup> *Миронов Сергей Наумович* (наст. имя Король Мирон Иосифович (1894–1940) – крупный работник госбезопасности. Член РКП(б) с мая 1925 года. Комиссар государственной безопасности III ранга. Окончил Киевское коммерческое училище (1913), затем учился в Киевском коммерческом институте. Принимал участие в Первой мировой войне. 1915–1918 гг. – служба в русской армии, прапорщик (1916), поручик (февраль 1917). 1918–1920 гг. – служба в РККА. 1920–1921 гг. – уполномоченный, начальник активного отделения Особого отдела 1-й Конной армии (с 1921 – Северо-Кавказского военного округа). 1921–1922 гг. – заместитель председателя Черноморской губернской ЧК, заместитель начальника Особого отдела Чёрного и Азовского морей. 1922 г. – начальник Горского областного отдела ГПУ. 1922–1925 гг. – начальник Восточного отдела полпредства ГПУ (с 1923 – ОГПУ) по Северо-Кавказскому краю. 1925 г. – начальник Чечено-Грозненского областного отдела ОГПУ. 1925–1928 гг. – начальник Владикавказского окружного отдела ОГПУ. 1928–1931 гг. – начальник Кубанского окружного отдела ОГПУ. 1931–1933 гг. – заместитель полномочного представителя ОГПУ по Казахстану и одновременно, в 1931–1932 гг., – начальник Секретно-оперативного управления полпредства ОГПУ по Казахстану. 28 сентября 1933–10 июля 1934 гг. – начальник Днепропетровского областного отдела ОГПУ. 15 июля 1934–28 ноября 1936 гг. – начальник Управления НКВД Днепропетровской области. 28 декабря 1936–15 августа 1937 гг. – начальник Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю. 19 августа 1937–3 мая 1938 гг. – Полномочный представитель СССР в Монголии. 1938–1939 гг. – заведующий II Восточным отделом НКВД СССР. Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. Арестован 6 января 1939. Расстрелян по приговору ВКВС СССР.

ямочки. Крупный, красивой формы рот, ровные белые зубы, волосы густыми волнами обрамляют лицо. Широкоплечий, сильный, походка стремительная, крепкая. Он улыбнулся нам, улыбка у него оказалась обаятельная, и, смотрю, все наши дамы так и замерли...

Красавец-чекист в глазах Агнессы – настоящий герой-любовник. В отличие от противного, толстого, с маленькими глазками Фриновского. Но, как и Фриновский, Миронов – типаж новой эпохи (это не старые большевики, продолжающие вести бесконечные споры о марксизме и постоянно вспоминаящие дореволюционные годы подпольной борьбы). Такие, как Миронов, как правило, выдвигались в Первую мировую войну: он стал офицером, потом сделался большевистским агитатором, затем ушел в Красную армию, работал в ЧК, участвуя в красном терроре во время гражданской войны. Первая мировая и, главное, Гражданская война извратили у этих людей представления о нравственности, о добре и зле, о ценности человеческой жизни. И внешне столь непохожий на Фриновского Миронов намертво связан с ним, их объединяет карьеризм и беспринципность, он *его* человек, от него зависит его карьера, и погибает он вслед за Фриновским (Миронова расстреляют на 2 недели позже).

Их роман с Агнессой начинается в 1925-м, и Миронову никакая ее “политическая грамотность” не нужна. Наоборот, наступило новое время, когда многие советские начальники меняют своих прежних “идейных” жен в красных косынках и кожаных куртках, с которыми они вместе прошли гражданскую войну, на тех, кто им создаст “красивую” жизнь, на дамочек в шляпках и шелковых платьях. В своем рассказе об их подпольном романе (который длится чуть ли не 6 лет!) Агнесса почти не упоминает, что и у Миронова была жена, прошедшая с ним гражданскую войну, с которой он расстается ради “безыдейной” Агнессы. Она, кстати, совершенно не скрывает своего равнодушия к вождям, к советской власти. Миронов, который, по словам Агнессы, “был очень предан советской власти”, шутливо называет ее “моя белогвардейка”. И его, арестовывавшего не сотни, а тысячи невинных людей по малейшему подозрению, это вполне устраивает. Лишь бы она ни во что не вмешивалась и не интересовалась его “работой”.

Правда, однажды в ответ на ее кокетливый вопрос:

– А если бы я действительно оказалась белогвардейкой, шпионкой? Если бы тебе приказали меня расстрелять, ты бы меня расстрелял? – он отвечает ей вполне искренне:

– Расстрелял бы.

Я не поверила своим ушам. Меня?! Меня расстрелял бы? Расстрелял бы... меня?! Он повторил так же безапелляционно:

– Расстрелял бы.

Я расплакалась. Тогда он спохватился, обнял меня, стал шептать:

– Расстрелял бы, а потом застрелился бы сам... – И стал меня целовать.

Слезы мои высохли, и хотя я еще повторяла: “Да, да, как ты мог хоть на миг такое подумать!” – но я уже шла на компромисс: если застрелился бы сам, значит, всё-таки любит.

Но стоило Агнесе (а это произошло, кажется, всего один раз) нарушить свое невмешательство в “мужские дела” и попросить за кого-то из арестованных знакомых, ее любимый, ласковый Мироша мгновенно превращается в беспощадного и жестокого чекиста:

Я все не решалась попросить Миронова, но, наконец, выбрала минуту, когда он был особенно весел. Надо было видеть, как вся его веселость мгновенно слетела. Он ответил мне сухо, холодно, резко, что все дела рассматриваются на местах, и если этот человек взят в Саратове, то там и будет решаться его дело, а он, Миронов, никакого касательства к этому не имеет и

ходатайствовать ни за кого ни перед кем не станет. Даже если б это были мои родственники или его собственные.

Для Агнессы ее спокойная и счастливая жизнь с Мироновым неизмеримо дороже, чем просьбы за каких-то чужих людей. Впрочем, и по отношению к своим Миронов ведет себя точно так же – прерывает отношения с родной сестрой в тот момент, когда над ее мужем сгущаются тучи и тот ждет ареста.

И, конечно, не коммунистической идее предан Миронов, а именно советской власти в чекистском ее понимании, а главное, своей карьере. В конце концов, именно поэтому Агнесса так с ним счастлива. И соблюдает предложенные Мироновым правила игры – его работа ее не касается.

С 1930 года, когда они, наконец, решают соединиться и Агнесса просто прыгает к Миронову в поезд, который увезет их в Москву, а затем они уедут уже вместе на его новое место назначения, в Казахстан, где Миронов становится заместителем полномочного представителя ОГПУ, и вплоть до его ареста в январе 1939 года она с ним больше не расстанется.

Тут-то и начинается десятилетие ее счастливой жизни, а на самом деле “пляски на вулкане”, потому что Агнесса живет, как она сама говорит, “зажмурившись”. Еще бы – ведь ей невероятно повезло, она рядом с человеком, которого любит, у нее больше нет не только бытовых, но вообще никаких проблем, всё решается как по мановению волшебной палочки, кругом обслуга, всё приносят, доставляют, подают.

Самое большое удовольствие она получает от того, что теперь может позволить себе такие туалеты, о которых большинство советских женщин не может даже мечтать. Память у Агнессы просто феноменальная – она и спустя 50 лет описывает свои платья с невероятными подробностями:

И вот мне сшили платье, я сама сочинила фасон. Вы только представьте себе: черное шелковое (черный цвет стройнит) с разноцветной искрой, талия и бедра обтянуты косыми складками, как блестящими стрелками, вот так вот – я даже вам нарисую, таких фасонов я с тех пор не видела. Сверху облитое этими стрелками, а внизу, почти у колен, широчайшим легким воланом расходится юбка – пышная, воздушная, как сумеречный весенний туман. А сбоку большая пряжка переливается всеми цветами, как искры на ткани.

И по мере восхождения Миронова по карьерной лестнице всё шикарней становятся ее туалеты. Эти фасоны, материи, цвета будут иллюстрировать главную “серию” из жизни Агнессы. Она, конечно, из породы “бытовых” женщин, – но в данном случае это выигрыш для читателя. “Черт сидит в деталях” – и мы видим ее глазами парадную сторону жизни партийного и чекистского начальства – наркомов и замнаркомов, в шикарнейших особняках, на курортах и госдачах. Гулянки, банкеты, пикники, чрезвычайно модные тогда кинопоказы и т. д. – всё это Агнесса описывает очень подробно:

Мы сели в открытые машины, а там уже – корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом – в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись, украшенные гирляндами из веток кипариса.

А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов.

Со служебным ростом Миронова всё шикарней становится обстановка вокруг Агнессы, всё больше штат обслуги и тех, кого Агнесса называет “подхалимами”:

У меня был свой “двор”, меня окружали “фрейлины” – жены начальников. Кого пригласить, а кого нет, было в моей воле, и они соперничали за мое расположение. Мы, бывало, сидим в зале, смотрим фильм; “подхалимы” несут нам фрукты, пирожные... Да, да, вы правы, конечно, я неверно употребляю это слово. Точнее сказать “слуги”, конечно, но я называла их подхалимами – уж очень старались они угодить и предупредить каждое наше желание. Они так и вились вокруг нас...

И так всё выше и выше, до их последней квартиры в знаменитом Доме на Набережной и до последнего новогоднего приема в Кремле, где они сидят неподалеку от самого Сталина.

Агнесса несколько раз повторяет, что жила в те годы “зажмурившись”, ничем кроме туалетов и приемов не интересовалась, ничего не знала, но мы видим, что это не совсем так, а порою и вовсе не так. Она чрезвычайно наблюдательна, у нее очень хорошая память (это доказывают ставшие известными засекреченные архивные документы и, в частности, показания самого Миронова, которые он после своего ареста давал против Фриновского и Ежова). Конечно, Агнесса, говоря о своем неведении, несколько лукавит. Точнее сказать, что она жила, как и многие люди, особенно в этой среде, с раздвоенным сознанием. Но получается, что она (в этом ценность ее воспоминаний) по сути разоблачает мифы, возникшие в сталинскую эпоху и оказавшиеся очень живучими. Миф о том, что чекисты верили, что и в самом деле громят врагов и предателей. И миф о том, что жены чекистов ничего не знали и ни о чем не догадывались. Судя по не интересующейся работой мужа Агнессе – кое-что знали. Начало ее совместной жизни с Мироновым происходит на фоне страшного голода, который вызван насильственной коллективизацией, раскулачиванием и репрессиями в Казахстане. Жертвы исчисляются сотнями тысяч, и как раз в самый пик этого ужаса Агнесса едет в отдельном салон-вагоне вместе с Мироновым, посланным с инспекционной поездкой по Казахстану проверять, как работают на местах отделы ОГПУ. С ними едет повар, вагон завален продуктами, мясом, сырами, фруктами. А вдоль всего их пути валяются трупы умерших от голода людей. Когда поезд подошел к Караганде, об этом узнает и Агнесса. Вернувшиеся из города сотрудники Миронова рассказывают ей (Агнессу он предусмотрительно в город не отпустил), что там происходит:

Ничего в магазине нет, полки пустые. Продавщица говорит: “Я не работаю, не торгую, нечем. Хлеб забыли, как и выглядит... Сюда прислали эшелоны с раскулаченными, а они все вымирают, так как есть нечего. Вон в той хибаре, видите отсюда? Отец и мать умерли, осталось трое маленьких детей. Младший, двух лет, вскоре тоже умер. Старший мальчик взял нож и стал отрезать, и есть, и давать сестре, так они его и съели”. Все замолчали. Они, сотрудники, про голод уже, оказывается, знали. Сотрудники НКВД, конечно, про голод знали, более того, в их функции входило пресекать всякое недовольство и засекречивать информацию о том, что происходит, не пускать голодающих в большие города. Так и Агнесса (даже после поездки по Казахстану) совершенно не представляет себе и не задумывается о том, что происходит с ее собственной семьей на Украине. Намеки в письме сестры (та боится писать открыто) понимает только ее мать и отправляет продуктовую посылку. Сестра Агнессы в то время была уже едва жива от голода:

Лена потом рассказывала: “Я всё отдавала Боре (сыну), всё, что по карточкам получала, а сама доходила... А на улицах и в парадных валялись трупы, я все думала – вот и я так лягу скоро... И вдруг перед домом останавливается машина, а с нее военный сбрасывает мешки. Звонит ко мне, застенчиво улыбается: – Это вам... кажется, от сестры. Я глазам своим не верю. Раскрыла – пшено! Я, конечно, ему отсыпала немного... и скорее-скорее варить кашу. Насыпала пшена в кастрюлю, налила воды, варю, а сама дожидаться не могу, пока сварится, так и глотаю сырое...”

Агнесса вовсе не исчадие ада, в какой-то момент спохватывается и все дальнейшие годы, пока может, помогает семье сестры. Но помощь людям – не ее стихия, она всегда думает прежде всего о себе. И это тоже объединяет ее с Мироновым. Они и в этом смысле идеальная пара – Агнесса никакой политикой не интересуется и мало над чем задумывается – эта власть ей чужая. Она не сразу может вспомнить, кто такой Киров, шутит по поводу самоубийства Орджоникидзе (а эти люди настолько известны в СССР, что за одно это “незнание” другой человек мог поплатиться свободой и даже жизнью). Но Миронова – при всей его преданности советской власти – это как раз и устраивает. Чем меньше Агнесса знает, тем лучше для него, хотя бы потому, что не задает неудобных вопросов.

Очень характерный пример: Миронова вызывают на совещание в Москву. Это февраль 1937 года – нарком Ежов собирает начальников управлений НКВД, уже подготавливаются массовые репрессии, которые начнутся в августе, Миронову не до развлечений. К тому же застрелился могущественный Серго Орджоникидзе. Но Агнесса, заскучав в Новосибирске, а может быть, не желая отпустить его надолго одного, приезжает в Москву вслед за ним. Миронов вначале раздражен:

– Ну вот, теперь ты понимаешь, когда ты приехала? Да еще с ними, еще такие развеселые. Небось, резались всю дорогу в карты? Ну, зачем, зачем? Я же тебе говорил: сиди дома! Ну, зачем ты приехала? Что я скажу, если меня спросят?

Я сделала скорбную, трагическую мину.

– Ты скажешь, – и вздохнула, – что приехала разделить скорбь о великом вожде!

Ну, тут Миронов не выдержал, расхохотался. Так я это курьезно сказала.

А мне тогда и правда, знаете, до Орджоникидзе этого было, как теперь говорят, “до лампочки” – тогда говорили “начхать”. Все эти вожди-“вожжи” мне были безразличны, я в них не разбираюсь.

Миронова я рассмешила, отвлекла, я всегда умела это делать, и уже через полчаса он говорил мне:

– Ну что бы я без тебя делал? Что Агулька, что ты... Баловница, шалунья. “Луч света в темном царстве”.

Конечно, такая жена гораздо удобней, чем задававшая бы ему неприятные вопросы о причинах самоубийства Орджоникидзе.

После Казахстана Миронова постоянно повышают: перебрасывают на Украину, где он становится начальником управления НКВД в Днепропетровске, а после назначения Ежова наркомом госбезопасности Миронов возглавит НКВД всей Западной Сибири.

Апогеем счастливой жизни Агнессы с Мироновым становится их свадьба. В 1936-м они наконец официально оформляют свои отношения, и начальство – нарком НКВД Украины Балицкий – устраивает им шикарную свадьбу на берегу Днепра на даче НКВД.

“Всем так хотелось повеселиться”, – вспоминает Агнесса. Почти все участники этого веселья – украинская чекистская верхушка – через два, самое большее через три года будут расстреляны.

Агнесса описывает парадную сторону чекистского быта – она мало что знает об ее изнанке, но, тем не менее, какие-то вещи подмечает. Например, когда описывает механизм игры Миронова с начальством НКВД в карты – на казенные деньги. Подчеркивает, что деньги на их свадьбу были, конечно, выделены им тоже из казенных сумм. Агнесса, описывая “сладкую жизнь” чекистской верхушки, разрушает еще один миф – о мнимом бескорыстии чекистов. Та степень власти, которой они наделены в сталинской системе, не может не привести к разложению и воровству.

\* \* \*

Но наступает 1937-й, год Большого террора, и жизнь Агнессы становится тревожной. Формально всё выглядит прекрасно – Миронов, получивший в декабре 1936-го огромное повышение, назначен начальником Управления НКВД по всему Западно-Сибирскому краю. Но теперь он в буквальном смысле отвечает головой за выполнение так называемых лимитов по репрессиям, то есть плановых цифр по арестам, которые сопровождают знаменитый приказ НКВД 00447. Ежов требует широких посадок, быстрого оформления дел, разрешены пытки арестованных. Органы лихорадит, Ежов чистит и чекистские кадры, арестовывая прежде всего тех, кто не успевает “громить врагов” в требуемом темпе. Миронов очень боится оказаться “нерадивым” (в своих показаниях на следствии он говорит о том, как Ежов давил на него). Агнесса, конечно, ничего об этом не знает, но чувствует, что что-то происходит, и что ее Мироша нервничает – видит (даже подозревает какой-то роман). Вероятно, поэтому она буквально врывается к нему в кабинет во время совещания в июле 1937-го. Агнесса так хорошо запомнила этот момент, потому что Миронов ее впервые довольно жестко выпроваживает, а ночью долго не может заснуть и пьет люминал. Теперь, когда открылись секретные документы, проливающие свет на механизм Большого террора, мы знаем, что в тот момент, когда к нему врывается Агнесса, Миронов проводил оперативное совещание начальников городских и районных отделов управления НКВД Западной Сибири. Приехав из Москвы, он подготавливал кадры чекистов к массовым арестам, допросам с применением пыток, расстрелам.

“Такие совещания проводились по всей стране. Большой террор готовился, как крупномасштабная военная операция. На заседании глава областного НКВД Миронов объяснил, что операция составляет государственную тайну, и за разглашение ее деталей – военный трибунал. Сразу после совещания его участники должны были «первым поездом» отправиться по местам, чтобы 28 июля приступить к арестам. Западной Сибири был дан «лимит» на расстрел 10 800 человек... но Миронов заверил участников совещания: «Можно посадить и 20 тысяч, но с тем, чтобы отобрать то, что представляет наибольший интерес». Кроме того, каждому начальнику оперативного сектора была поставлена задача: «Найти место, где будут приводиться приговоры в исполнение и место, где закапывают трупы». Если это место в лесу, то следовало заранее срезать дерн, чтобы потом замаскировать массовое захоронение. Остальные сотрудники не должны были знать ни о месте захоронения, ни о числе казненных, только очень узкий круг посвященных”<sup>4</sup>.

А Агнесса-то думала, что Миронов пьет люминал и не спит из-за ссоры с ней. Но в последующие дни и недели, когда Москва постоянно требует от него сводки о цифрах произведенных арестов, Миронов уже не в силах скрывать от Агнессы, как он сам напуган. И как только маска железного самоуверенного чекиста начинает сползать – выглядывает страшное и жалкое лицо (спасибо наблюдательности Агнессы!) виновника, охваченного страхом:

А Сережа... Сережа тоже боялся.

Как всё у него напряжено внутри в страшном ожидании я поняла не сразу. Но однажды... У него на работе был большой бильярд. Иногда, когда я приходила к Мироше и выдавался свободный час, мы с ним играли партию – две. И вот как-то играем. Был удар Сережи. И вдруг он остановился с кием в руках, побледнел... Я проследила его взгляд. В огромное окно бильярдной видно: во двор шагом входят трое военных в фуражках с красными околышами.

– Мироша, что с тобой? – И тут же поняла. – Да это же смена караула.

---

<sup>4</sup> Петров Н. В., Яцен М. “Сталинский питомец” – Николай Ежов. М.: РОССПЭН, 2008. С. 102.

Страх – и одновременно желание снять с себя ответственность звучат в ответе Миронова на прямой вопрос его двоюродного брата в подслушанном Агнессой разговоре:

– У тебя, наверное, руки по локоть в крови. Как ты жить можешь? Теперь у тебя остается только один выход – покончить с собой.

– Я сталинский пес, – усмехнулся Мироша, – и мне иного пути нет!

Эта фраза – одна из ключевых в воспоминаниях Агнессы для понимания таких людей, как Миронов. Я – сталинский пес, – говорит он. С одной стороны, тут намек на кровавых опричников времен Ивана Грозного, привязывавших к хвостам своих лошадей песьи головы, а с другой стороны – отсылка к Сталину. Таким образом Миронов как бы снимает с себя всякую личную ответственность: он только выполняет волю Сталина. Эти слова развеивают еще один миф – о том, что Сталин не являлся виновником и организатором террора. Миронов отлично понимает, от кого на самом деле исходят все приказы.

Приступы страха будут преследовать Миронова в последние месяцы перед его арестом. Страх перед арестом и следствием – ведь он прекрасно знает о методах, которыми ведется допрос. (В своих показаниях после ареста в 1939 году Миронов говорит, что речь о применении к арестованным так называемых мер физического воздействия шла на июльском совещании высшего состава НКВД в Москве в июле 1937 года.) Страх за Агнессу – в какой-то момент он кричит ей, что и жен берут! (Он-то прекрасно знает о секретном приказе НКВД об арестах жен врагов народа.) Теперь он всё больше и больше нуждается в помощи и поддержке Агнессы, всегда сохраняющей веселость и самообладание. Именно в эти последние месяцы она уже кое-что начинает понимать, что-то и у Миронова вырывается. Например, поразившие ее слова о бежавшем к японцам начальнике Дальневосточного НКВД Люшкове: “Он спасся”! Это значит, что веры в родную советскую власть у Миронова больше нет. Но и покончить жизнь самоубийством ему (так легко лишавшему жизни тысячи людей) не дает страх:

Он говорил мне: “Если меня арестуют, я застрелюсь”.

Однажды ночью он вдруг вскочил с постели, выбежал в прихожую и быстро задвинул палкой дверь грузового лифта, который подавался прямо в квартиру, затем навесил на входную дверь цепочку, но этим не ограничился. Как невменяемый, схватил комод, притащил его и придвинул к дверям лифта.

– Сережа, – зашептала я, – зачем ты?

– Я не хочу, не хочу, чтобы они пришли оттуда и застали нас врасплох! – воскликнул он. Я тотчас поняла: он хотел, чтобы был стук или чтобы грохот комода или треск переломанной палки разбудили его, чтобы не ворвались к спящему.

– Мне надо знать, надо... когда они придут!

И я опять поняла: чтобы успеть застрелиться.

\* \* \*

Агнесса дает точную метафору для своей тогдашней с Мироновым жизни:

Ах, какие это были страшные качели! Только что душа скована страхом, и вдруг взмах – и ты наверху, и ты можешь дышать, жить, думать о пустяках, о всякой всячине, как о серьезном деле, а то, что тебя сейчас новым размахом бросит вниз, ты уже не думаешь. Говорят, Сталину это нравилось – прокатить на таких качелях.

Но на короткое время страх отступает. В августе 1937 Миронова назначают полномочным представителем СССР в Монголии. Монголия с двадцатых годов фактически является

сателлитом СССР, но из-за нападения Японии на Китай Сталин решает полностью сменить там власть, ликвидировать и в Монголии “пятую колонну”. Фриновского и Миронова отправляют туда для проведения масштабных чисток, в том числе и в правительстве Монголии.

Еще как только повеяло повышением, Мироша заметно приободрился, а тут сразу вернулись к нему былая его самоуверенность, его гордая осанка, его азартная решимость, его честолюбие. Глаза сразу стали другие – залучились огоньками успеха, словно вернулись молодость, “настоящие дела”, борьба с контрреволюцией, ростовские времена, —

вспоминает Агнесса.

Она шьет новые туалеты, покупает украшения, с увлечением постигает правила поведения советских полпредов за границей, а меж тем пребывание в Монголии становится самым кровавым эпизодом в карьере ее Мироши. 23 апреля Миронов доложил Фриновскому, что 10 728 человек арестованы, включая 7814 лам, 3222 феодала, 300 служащих министерств, 180 военных руководителей, 1555 бурятов и 408 китайцев. 31 марта 6311 человек из них уже были расстреляны, что составило 3–4 % взрослого мужского населения Монголии. Согласно Миронову планировалось арестовать еще 7 тысяч человек<sup>5</sup>.

После окончания этой “дипломатической миссии” им снова кажется, что опасность миновала – Миронова переводят на дипломатическую службу – назначают начальником Дальневосточного отдела МИДа.

Еще на полгода отодвигается неизбежный конец. И снова – платья, дипломатические приемы, наконец встреча Нового 1939 года в Кремле. И только через несколько дней после этого – арест.

Агнесса и тут проявляет силу своего характера: не теряет присутствия духа в момент обыска, еще целый год ходит на Лубянку к следователю, который передает ей письма от Миронова.

Сегодня благодаря публикациям архивных документов мы знаем, что после ареста и допроса, который проводит сам Берия, Миронов пишет на его имя заявление о полной готовности дать показания против Фриновского и Ежова (их арестуют на несколько месяцев позже) и становится одним из главных свидетелей, обвиняя их в том числе и в заговоре против Сталина.

Миронов стремился переложить всю ответственность на Ежова и Фриновского, возможно, ему намекают на некоторое облегчение его участи, если он даст подробные показания. Но в феврале 1940-го всё заканчивается – у Агнессы не принимают передачу и сообщают ей обычную формулу: “Десять лет без права переписки”, означающую расстрел. Агнесса, в отличие от многих, это сразу понимает. Она вообще ведет себя чрезвычайно собранно и трезво, не обивает пороги, не пишет писем Берии и Сталину (для этого она слишком умна). Она поступает самым естественным для себя образом: начинает новую жизнь.

Это вовсе не просто – муж репрессирован, ей уже 37. Но всё устраивается прямо в семье – двоюродный брат Миронова только что овдовел, и это упрощает ситуацию. Михаил Король старше Миронова, тоже воевал в Первую мировую и гражданскую, потом был начальником Главного управления кинематографии, а затем по заданию военной разведки несколько лет находился в США. Чудом избежал ареста в 1937-м и к моменту романа с Агнессой работал редактором и переводчиком в Госкино. В отличие от Миронова, Король – интеллигент, человек думающий и читающий, и он на самом деле предан не Сталину, а своим марксистским идеалам и революции. Конечно, Агнесса не любит его так, как любила Миронова, но относится к нему с уважением, и этот брак для нее – несомненно хороший выход.

---

<sup>5</sup> Петров Н. В., Яцен М. “Сталинский питомец» – Николай Ежов”. – С. 118.

Но очень быстро наступает 1941 год, начинается война. Агнесса драматично описывает эвакуацию из Москвы – но она не Наташа Ростова из “Войны и мира”, своих вещей не выбрасывает, а наоборот, очень переживает их потерю:

Агнесса не могла пережить потери вещей, пилила папу, что он позволил перебросить чемоданы на другую машину и что оставили в Москве у кого-то. “Я была богатая женщина, – говорила она отцу, – а теперь у меня ничего нет”. Но что он мог? Были паника, раздражение, истерики, люди с “Мостехфильма” кричали, что наша машина вся завалена вещами, что другим некуда грузиться, кричали: “Сбросить!” Когда мы ехали на пароходе, Агнесса еще не остыла и только и знала, что говорила об этих вещах. (Это были вещи, привезенные из Монголии, она всё-таки многое сумела сохранить после конфискации), – вспоминала ее падчерица, дочь Короля.

В эвакуации Агнесса, недавно имевшая целый штат прислуги и жившая в особняках и огромных квартирах, оказывается в крошечной комнатухе, которую она вынуждена делить с другими эвакуированными. Но она приспосабливается, ничего не стесняется, даже торговли на рынке. По-видимому, ее независимый характер, гордость – и становятся причиной ареста. Избежав участи жен, арестованных за своих мужей в 1937–1938, Агнесса становится жертвой самого обычного бытового доноса соседей, с которыми делит комнату. Поэтому она получает в 1942-м фактически минимальный срок: 5 лет за антисоветскую агитацию. И по иронии судьбы оказывается в тех же местах Казахстана, по которым ехала когда-то в салон-вагоне с Миرونным. Это действительно качели судьбы – оказаться теперь в тюремном вагоне с уголовниками, которые издеваются над ней, перенести страшный пеший этап, в котором идущие рядом замерзают насмерть, едва не погибнуть от дистрофии:

Оледеневших мертвецов ставили стоймя около уборной. Затем освободили сарайчик и стали складывать штабелями туда, но и там места не хватило, тогда – на террасу у выхода. Складывали голыми, кое-как прикрывши сверху. Навалили столько, что дверь плохо открывалась, приходилось на нее нажимать, чтобы выйти. Некоторые лежали “раскорякой” – то затвердевшая рука высунется, то нога. Проходя, заденешь. Или надо перешагивать. Ко всему этому мы скоро привыкли. Иной раз выхожу, мертвецов дверью отжимаю и думаю с удивлением: “Что это со мной? Это же мертвецы, а я их не боюсь, как будто это дрова”. Перешагну через ноги, руки и иду как ни в чем не бывало. Подумала: “Если бы это в нормальной жизни, то я не поверила бы, что так жить можно. А я тут не обращаю внимания и живу. И я всё перенесу и не умру! Я не умру, не умру, со мной этого не случится”.

Агнесса и тут не сдаётся, не падает духом и проявляет чудеса выживаемости:

А еще знаете, что мне помогло? Я никогда ни одного дня не носила тюремной или лагерной одежды. Мне казалось, что стоит надеть их одежду – эти ватные брюки или куртку с торчащей из дыр ватой, – и ты уже не человек, ты уже превратился в раба в глазах всех и в своих собственных, раба, которым можно как угодно помыкать. Надо было сохранить свое человеческое достоинство. Я и старалась держаться так – не сдаваться, не уронить себя. И это мне помогло.

Но судьба наносит ей новые удары. В 1944-м арестовали ее третьего мужа, Михаила Короля. На следствии его подвергают пыткам, после которых он так и не смог оправиться. В 1950-м после освобождения его арестовывают снова, к Агнессе он вернется только в 1956 году. После трудной борьбы за реабилитацию – у них комната в коммунальной квартире. Агнесса работает в регистратуре поликлиники, а Король пытается найти литературный заработок. Но

ему не дает покоя безнаказанность тех, кто совершал при Сталине преступления, равнодушие и слепота послесталинского общества. Сам он благодарил судьбу за прозрение:

Благословляю свои одиннадцать лет тюрем и лагерей – как начало моего возрождения. Без этих испытаний я бы прожил свою жизнь с душевной мутой, в тумане, с неясными мыслями и ошибочными заповедями, —

писал он в своих записках.

После смерти Короля в 1959 году Агнесса проживет еще 20 лет.

\* \* \*

В истории Агнессы есть свой эпилог. Годы в ГУЛАГе, жизнь с Королем не прошли для нее бесследно. И финал ее жизни представляется гораздо более достойным, чем многие прежние страницы. Агнесса много читает, путешествует на небольшие деньги, оставшиеся ей в наследство от родственницы, за которой она ухаживала, навещает места своего детства и юности. И вспоминает. Пожалуй, именно это и вызывает к ней уважение – она не боится своего прошлого, она готова рассказывать всем, кто готов слушать. Конечно, Агнесса прежде всего вспоминает свою счастливую жизнь с Мироновым, но теперь, после того как она сама вкусила все прелести созданной им и такими как он системы, – ей важно понять, какова степень виновности человека, которого она никогда не переставала любить. Потому что понимает и знает – на нем кровь очень многих невинных людей. Но и это уже много, потому что так готовы были думать далеко не все. И не все, как она, считали, что надо рассказывать о сталинских временах, не бояться и не молчать.

Ей глубоко запали в душу слова Михаила Давыдовича о необходимости у нас второго Нюрнбергского процесса, и в заветной ее записной книжке был подробно выписан приговор, вынесенный в 1946 году.

Настрадавшись в недавнем прошлом от доносов и преследований, многие реабилитированные боялись любой огласки. Одна Агнесса не боялась ничего. Она была пылким агитатором. В метро, трамвае, в очереди, если начинали оправдывать Сталина и осуждать репрессированных, она тут же со свойственными ей красноречием и страстностью вклинивалась в спор и чаще всего побивала своих оппонентов тем, что сама была в лагере и знает правду не понаслышке, —

писала Мира Яковенко.

Да, ее описание счастливой жизни на фоне Большого террора вызывает к ней неприязнь, но мы узнаем об этом из ее уст, получаем эту историю из ее рук. Ведь свидетелей не осталось – и она могла бы описывать всё это совсем иначе, задним числом снимая с себя ответственность. Но она этого не делает. Конечно, она о каких-то вещах умалчивает, не договаривает, что-то приукрашивает, но и свой собственный образ и образ Миронова рисует всё-таки она сама. (Хотя тут, безусловно, и литературная заслуга Миры Яковенко, что и образ, и сам рассказ получился таким многомерным.)

История Агнессы вызывает доверие еще и потому, что, пользуясь всеми благами сталинской системы, она себя с ней не идентифицирует. Этим, видимо, и объясняется ее поразительная откровенность. Но так уж устроена эта женщина: жизнь дает, и она берет. Берет охотно и с радостью. Она принимает мир таким, каков он есть, не скрывает удовольствия, которое получает от красивых вещей, от материальных ценностей. Красота и уют для нее органичны. Агнесса привносит их и в казенную обстановку госдач, и в кошмар лагерного барака. Свои наряды она описывает с таким наслаждением и с такими подробностями, что их невозможно

не запомнить, как туалеты Скарлетт О'Хары: и бледно-зеленое свадебное платье с золотыми пуговицами, и черное со шлейфом на приеме в Кремле, и штопаную красную вязаную кофточку и драную беличью шубку, с которыми не расставалась в лагере.

Агнесса ничуть не смущается тем, что ее главное оружие в борьбе за выживание – откровенная, почти агрессивная женственность и женский инстинкт. Именно это позволило ей не только выжить, но, что еще труднее, сохранить свое достоинство. Это удавалось Агнессе не всегда. Но когда она вспоминает о прошлом, у нее хватает смелости не лгать себе и другим, уверяя, что во всех ситуациях вела себя безупречно.

И еще одно – выжить она старалась, как правило, не за счет других. Даже попадая в обстоятельства, выбраться из которых было чрезвычайно трудно, она полагалась прежде всего на себя, внушала себе, как внушала героиня Маргарет Митчелл, что ни за что не будет думать о плохом: “Я умею себя уговорить, убедить, отбросить ужасное, страшное, уйти в другой мир... Ведь главное – в любых обстоятельствах не потерять голову. Не может мне не повезти!”

*Ирина Щербакова*

## От автора

Я познакомилась с Агнессой Ивановной Мироновой в 1960 году у своих друзей. Это была женщина лет сорока (так мне в первый момент показалось, но вскоре выяснилось, что она много старше), еще очень красивая. Прекрасные черты лица, живые зеленовато-карие глаза какого-то удивительного сияющего оттенка, прическа из крупно вьющихся каштановых волос венцом вокруг головы, большое декольте (хотя была уже осень), безусловно гладкая стройная шея. Платье было светлое, летнее, идеально пригнанное по фигуре, подчеркивающее большой бюст. Было видно, что она следит за своей еще очень хорошей фигурой.

За ужином она стала рассказывать об этапе, которым пересылали ее из Москвы в Караганду. Она рассказывала ярко, красочно, темпераментно, с интонациями действующих лиц, все мелочи в ее рассказе вставали, как живые. Талант рассказчицы и сама рассказчица произвели на меня огромное впечатление.

Мы вышли вместе, нам было по дороге. Я стала ее спрашивать.

Агнесса не принадлежала к тем репрессированным, которые словно стеной закрывают пережитое от чужих глаз, не хотят говорить о нем, обрезают всякие воспоминания. Она ничего не хотела вычеркивать, ничего не хотела забывать, наоборот – она рассказывала охотно, с огоньком, ни в чем не таясь, а с людьми несведущими чувствовала ответственность – дать им узнать правду. Больше того – тут она становилась страстной пропагандисткой этой правды, которую люди не знают или не хотят знать.

В тот первый вечер мы, прощаясь, условились, что в ближайшее время она придет ко мне. И она пришла и принесла мне прекрасные письма из лагеря Михаила Давыдовича Короля, ее третьего мужа, и стихи бывшей узницы АЛЖИРа Софьи Солуновой. А затем я стала приходить к ней. Так возникла наша дружба.

Мы дружили до самой ее смерти, больше двадцати лет...

Я любила приходить к ней. Я побуждала ее к рассказам, а ей рассказывать было нужно, это теперь была ее жизнь.

Оговорюсь – я не точна. Она жила не только прошлым. Активная и энергичная натура, она деятельно жила настоящим, жизнью своих близких и друзей и собственной духовной жизнью.

Но вернусь к рассказам. Предложить ей записывать их я не решилась. Я боялась не того, что она не согласится, а того, что узнав, что слова ее запечатлеваются, она цензуровала бы себя, рассказывая, подбирала бы, что сказать, а что нет, и естественный рассказ превратился бы в надуманный и мертвый.

Приходя от Агнессы домой, я записывала, что удалось запомнить. Были и пропуски в памяти. Тем не менее что-то осталось. И на основании этих вех, дополнив их рассказами близких Агнессы и собственными воспоминаниями о ее рассказах, я и попыталась написать о ней то, что удалось сохранить. Увы! Это только схема, только краткий смысл, только скелет ее рассказов. Живые интонации, яркие подробности, эмоциональная окраска ситуаций – все это потеряно...

У Агнессы была исключительная память. А зрительная просто феноменальная. Пятьдесят лет спустя она могла подробно назвать, кто во что был одет и какого цвета что было. Цвета и оттенки она помнила удивительно. Все это ускользает из моего изложения, и не только потому, что самой мне многое не запомнилось, но и умышленно, иначе описание туалетов заняло бы слишком много места.

Ускользнут и многие имена. Это жаль. Я вовремя не переспросила Агнессу и не записала их точно.

*Мира Яковенко*

## Часть I. И рай, и ад – всё рядом

### Мой дедушка

Вы знаете, я сейчас больше всех писателей люблю Чехова. Я его не понимала прежде, я только сейчас оценила. Спасибо, что вы принесли мне его письма<sup>6</sup>. Это ведь самое подлинное.

Чехов мне еще и потому интересен, что он был на Сахалине<sup>7</sup>, как раз когда там отбывал каторгу мой дедушка – отец моей матери. Чехов, думается мне, знал его. Я рассказала в Ленинской библиотеке, и они мне разрешили пройти в рукописный фонд. Там я нашла картотеку арестантов<sup>8</sup>, составленную Чеховым. На каждого арестанта, о котором удалось Чехову получить какие-то сведения, он заводил карточку.

И я нашла там карточку на Зеленова Ивана – уроженца Томска. Все сходится, и возраст сходится, только фамилия дедушки была Зеленцов. Ошибся ли Чехов? Или дедушка значился там как Зеленов?

Семья дедушки Ивана и бабушки Анисьи (Они) жила в Барнауле. Дедушка был простой человек, русский. Бабушка была якутка, неграмотная. Детей было много, дедушка ходил на заработки, уходил рано, приходил поздно.

Напротив жили богатые поляки. Вероятно, они были высланы после восстания в Польше в 1863 или даже в 1830 году. В Сибири они разбогатели, имели несколько доходных домов – сдавали квартиры жильцам.

И вот однажды этот хозяин, поляк, старик – уже восемьдесят лет ему было – вызывает моего деда и говорит:

– Стар я и слаб, ничего уже делать не могу, вот только сижу и смотрю в окно, дом твой вижу и всю вашу жизнь вижу, как дети выбегают босые на мороз, как ты каждый день уходишь рано утром на заработки. Не пьянствуешь, в церковь ходишь. Я понял, что ты человек честный, трудящийся. У нас с женой никого нет – ни детей, ни внуков, одиноко живем, а смерть наша не за горами... Вот я и хочу завещать тебе все свое имущество, чтобы ты присматривал за мной и за женой в нашей старости, стал бы нам за родного.

Дедушка согласился не сразу, сказал, что посоветуется с женой, и, поговорив с бабушкой Оней, предложение принял.

Старик-поляк прожил недолго, умер. Осталась старушка, за ней дедушка ухаживал заботливо: вызывал докторов, покупал лекарства, сам, не доверяя горничной, давал их ей, следил, чтобы у старушки все было, часто сидел с ней, разговаривал, и она относилась к нему как к сыну.

В доме были горничная и два поляка-приживала, они от зависти не знали, что и выдумать. Может быть, они сами надеялись стать наследниками, а тут объявился какой-то бедняк без роду и племени... И вот, когда старушка умерла, они стали говорить, будто дедушка отравил ее, будто они сами видели, как он давал ей яд с ложечки. Старушка уже была похоронена, но слух не затихал. Состоялся суд. Главным свидетелем выступил батюшка, его голос на суде был равноценен голосам двенадцати свидетелей. Батюшка сказал, что в гробу умершая была с

---

<sup>6</sup> Речь идет о томе (или нескольких томах) писем Антона Чехова, принесенных Агнессе Миррой Яковенко из 30-томного Собрания сочинений Чехова, которое было опубликовано в М.: Наука, 1974–1983. 12 томов занимали письма.

<sup>7</sup> Чехов был на Сахалине в 1890 году.

<sup>8</sup> С острова Чехов привез “целый сундук всякой каторжной всячины”, около 10 тысяч статистических карточек и “много всяких бумаг”.

зелеными пятнами, значит, ее отравили. Тут же выступили и горничная, и те два приживала и опять сказали, что якобы видели, как дедушка давал ей яд с ложечки.

Труп выкопали, вырезали желудок и в запечатанной банке отправили на экспертизу в Томск. Ответ пришел, что в желудке найдены следы мышьяка. А он, мышьяк этот, входил в состав лекарства, которое старушке прописали для аппетита. Но никто в этом не разбирался. Все знали, что мышьяк – яд, и значит, дедушка мой – отравитель.

Его осудили на двадцать лет каторги. Начиналась зима, пароходы по Оби уже не ходили, а ехать надо было на пароходе. Дедушка просидел в тюрьме в Барнауле восемь месяцев. К нему в тюрьму пускали на свидания бабушку Оню и детей. Там, в тюрьме, ставили самовар, и все, сидя на полу вокруг самовара, пили чай с принесенными булками. При этом присутствовал жандарм и тоже пил чай.

В начале лета пароход увез дедушку. Он стоял на палубе, закованный в цепи, ножные кандалы были привязаны к поясу, на голове – арестантская шапка. По лицу текли слезы.

После его ареста старшая его дочь, мамина сестра, пошла работать, а маму отдали ученицей в пошивочную мастерскую, где ее заставляли подметать пол, бегать за покупками, помогать кухарке, а шить не учили. Когда она спросила, почему так, хозяин ответил, что днем все швейные машины у него заняты и учить ее не на чем. Учись, мол, сама, ночью.

Маме в мастерской каждый день давали два кусочка сахара. Она не ела его, а прятала в мешочек, который затем приносила домой – маленьким братьям и сестрам.

Пока дедушка не был осужден, а только нависла над ним угроза, умные люди научили бабушку, и она брала из дома поляков серебро – посуду, подсвечники, безделушки, – там все было из серебра. С этим бабушка ездила в Томск и другие места и продавала. Вырученные деньги помогали сводить концы с концами.

У мамы было четыре класса образования. Она ушла из пошивочной мастерской. Старшая сестра к тому времени уже работала кассиршей в одном магазине и на такую же работу смогла устроить и маму.

Так прошло восемь лет. И вдруг приходит телеграмма: “Молитесь Богу оправдан”.

И опять все на пристани, но уже не провожают, а встречают. На палубе худой человек с длинной белой бородой, слезы катятся по его лицу.

Почему же его оправдали? Дедушка рассказывал, что он встретил на Сахалине очень умного и хорошего человека, которому поведал все, что с ним случилось. А тот тотчас обратил внимание на такую деталь: когда дедушка якобы отравил старушку, он уже юридически был полным хозяином всего и отравлять ему ее не было никакого смысла. Человек, о котором рассказывал дедушка, вскоре уехал с Сахалина, подал от имени дедушки прошение в Петербург, и дедушка был оправдан.

Кто это был? Может быть, Чехов? Есть фотография, где Чехов снят с каторжанами, и там есть один худой, с длинной белой бородой. Я думаю, что это мой дедушка, но проверить это не удалось.

Дедушка вернулся, и к нему на дом пришли городской голова и другие почтенные люди города. Только батюшки, который свидетельствовал, с ними не было – он сошел с ума. Пришедшие принесли дедушке ларец с золотыми и ассигнациями и сказали, что все годы дедушкиного отсутствия дома сдавали жильцам и вот от них доход – он принадлежит дедушке.

## Мой отец

Греция... Я никогда не была в Греции. В Барнауле была, а в Греции нет, а ведь Греция – это тоже родина моих предков.

Отец мой – Иван Павлович Аргиропуло – был грек по национальности, турецкий подданный. Царское правительство разрешило части турецких греков, спасавшихся от расправы турок, приехать в Россию<sup>9</sup>. И родители отца привезли его, еще совсем маленьким, в Анапу. Как и почему уже юношей он попал в Барнаул, я не знаю.

Там это было диво – южанин, грек. Подружки прибежали к маме на работу:

– Знаешь, в лавке у Прохоровых новый приказчик! Грек! Красавец! Все барышни приходят на него посмотреть!

Пришла и мама. А папа был и правда красивый – черноглазый, черные кудри. Нос большой с горбинкой, но это его не портило. И не только лицом был папа интересен. Он был гораздо культурнее барнаульских юношей, он очень любил книги, знал литературу. Какой-то принц из далеких экзотических стран – таким он показался маме.

Они познакомились, встретились на маскараде, папа был в костюме Пьеро<sup>10</sup>. Он стал ухаживать за мамой. Дедушка сказал ей:

– Смотри, если выйдешь за него замуж, он увезет тебя за тридевять земель.

Мама говорила, что не выйдет и не увезет, а самой ей именно и хотелось, чтобы он увез ее. Она вышла за него замуж. Поп не хотел венчать:

– Не буду, вы разной веры!

Папа вспылал:

– А откуда вы свою веру взяли, вы не знаете?

Поп не знал и был очень упрям. Пришлось венчаться в другом месте, у другого попа, который был грамотнее.

Дедушка дал несколько тысяч приданого за мамой, и папа увез ее в Майкоп. Тут оказалось у него очень много родственников-греков, и все мечтали разбогатеть. Мамино приданое оказалось для них как раз кстати, и они стали вовлекать отца во всякие аферы, а он легко поддавался их влиянию.

Помню, появилась затея разбогатеть на извести. Где-то можно было ее раздобыть чуть не бесплатно. Ее приобрели, наняли железнодорожные вагоны за пятьсот рублей, привезли эту известь, а никто не берет. Продать удалось всего на пятьдесят рублей. Железная дорога больше ждать не хотела, требовала, чтобы вагоны наконец-то разгрузили, пришлось вывезти известь в поле и сбросить, а тут как раз пошли дожди... Другие затеи были не лучше. Родственники отца комбинаторами были плохими: все комбинации у них лопались, принося убытки. Но папа и сам был прожектором. Уже при белых у нас жил отец белого офицера (мы брали жильцов для приработка), за этого офицера Лена вышла замуж. Отец его тоже был “делец”. Они с папой затеяли приобрести совместно мельницу. Папа рассчитывать не умел, в делах ничего не понимал, ему все казалось, что компаньон его надувает... В конце концов, они оба прогорели на этой мельнице.

Моя память начинается раньше этого времени, когда папа поступил работать управляющим к очень богатому греку. У этого папиного хозяина были плантации табака, виноградники, склады, магазины, кинотеатр. Папа был управляющим магазинов и кинотеатра. Хозяин платил

---

<sup>9</sup> Русским дипломатам в Константинополе и Трапезунде в 1863 году удалось подписать указ о свободном переселении христианского населения на российские территории. В результате в Россию переселилось значительное число греков из-за дискриминационной политики османов в отношении христианского населения.

<sup>10</sup> Образ Пьеро – *фр. Pierrot* – из французского ярмарочного театра стал очень популярным в конце XIX – начале XX века.

ему жалованье семьдесят пять рублей в месяц. К Новому году давал еще конверт с пятьюдесятью рублями (не мог даже полного оклада дать, скупердяй!).

Отношения с хозяином у отца были близкие. Оба греки, они говорили друг с другом на родном языке, были на “ты”.

Жена хозяина Клио Федоровна была рябая и некрасивая, но очень хорошо сложена – стройная, высокая. Она тоже относилась к нам по-семейному. Однажды она пришла поболтать с мамой, а уходя, споткнулась о какой-то половик и упала. Ее тотчас подняли, все у нее было цело, и даже ушибов не было. Она ушла.

И вдруг вскоре хозяин взволнованно сообщил отцу, что Клио Федоровна потеряла из кольца очень ценный бриллиант – подарок покойного деверя... Не нашли ли мы его? Папа сказал, что нет. Мы стали искать. Сперва ничего не находили, затем мама велела прислуге принести все половики, стала их тщательно перебирать пальцами и нашла бриллиант. Тотчас позвонили отцу по телефону-вертушке. Обрадованный хозяин отпустил отца с работы, благодарил, превозносил, на радостях говорил: “Вот что значит честные люди!” Это было перед Новым годом.

А на Новый год хозяин пригласил нас всех на семейный ужин. Мы, дети, играли с детьми хозяев. Моей подружкой была Галатея – хозяйева давали своим детям греческие имена. Ужин был роскошный.

В начале ужина Клио Федоровна встала и в наступившей тишине сказала:

– Вы знаете, какой это ужин? Это бриллиантовый ужин! – И произнесла тост за честных людей.

Но больше никак они нас не отблагодарили.

Когда пришла советская власть и у них все отняли, мама сказала отцу:

– Ну и дураки мы были, Иван, что отдали бриллиант! Мы бы сейчас себе дом купили!

Помню свадьбу сестры Клио Федоровны. Невеста в длинной фате, жених высокий, похожий на Столыпина<sup>11</sup>. Шлейф невесты несли две девочки из гимназисток – Агриппина и Медея. Свадебный обед был в греческой кофейне. Столы стояли подковой. Нас, детей, сперва за столы не посадили. Мы с сестрой Леной были одеты очень просто, в белых платьях. Мама из голубых лент сделала нам повязки на голову.

После праздничного обеда был бал. Открывал его наш отец – стройный, красивый. Ему очень шли большие черные усы. Танцевал он отлично. Он пригласил невесту на вальс. Все смотрели на них. Папа вел бал, танцевал все время – и с мамой, и с Клио Федоровной, и с другими, а мы смотрели и любовались, и гордились папой, и чувство у нас было такое: “Это наш папа танцует! Видите, какой у нас папа? Хоть вы и богаты, а мы нет, и одеты мы просто, но мы не хуже вас! Наш папа здесь лучше всех!”

Потом нас посадили за стол.

У нас не было своего дома, мы снимали квартиры. В начале гражданской войны мы снимали квартиру у генерала в отставке в его особняке. Генерал был на пенсии, с утра до вечера занимался своим садом. Сад был прекрасный, аккуратный, в английском стиле, все подрезано, подчищено, зеленые лужайки. Генерал знал названия всех деревьев, рассказывал нам о них. Старик был добрый, приветливый.

Пришли красные. Генерала убили, “надели”, как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так.

Папа был в Махачкале, отрезан от нас фронтом. Когда он вернулся, так совпало, к нам в особняк пришли реквизируют вещи.

Отец говорил:

---

<sup>11</sup> *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862–1911) – крупнейший российский государственный деятель, автор аграрной реформы. Погиб в результате покушения Д. Богрова.

– Это не наше.

И пришедшие все забирали. Затем явились уже к нам, реквизируют наши вещи.

Нашли Ленины новые маленькие сапожки.

– А говорят, буржуи в каблуки бриллианты прячут!

И хотели оторвать каблуки. Лена взмолилась, они ей:

– А если найдем, что будет, а?

– А если не найдете, – сказала Лена со свойственным ей задором, – мне ходить будет не в чем.

Они оставили.

Вы знаете, я ездила недавно в Майкоп... Как только получила наследство Шарлотты<sup>12</sup>, тотчас поехала “по следам своей юности”... Отыскивала старых знакомых, улицы, родные мне с детства. Много изменилось, только кое-где еще следы прежнего... А скольких людей уже нет – или умерли, или раскидала жизнь... Но кое-кого все-таки разыскала. Свою майкопскую подругу я нашла в Сухуми. Ее семья когда-то была очень богата, у них действительно были драгоценности. Они зарыли их под большой цветущий куст в саду, но реквизиторы были дотошны, они почти все цветы перекопали, чудом этот куст не тронули – надоело возиться, вероятно.

На сохраненные драгоценности семья моей подруги потом купила несколько домов в Сухуми, один из них – ей. Он небольшой, сияющий белизной между синим морем и синим небом. Кругом сад, где цветут магнолии. Это рай.

Подруга моя смеялась:

– Помнишь, какие были у нас розовые кусты в Майкопе? Вот ты видишь один из них.

И, заметив мое недоумение, раскрыла мне только сейчас – спустя пятьдесят лет – их семейную тайну. Но у нас брать было нечего. После прихода красных слух пошел такой: будет объявлена свободная любовь, ни одна женщина никому не должна отказывать. Папа умолял маму:

– Ты их не выпускай из дому!

Лена потешалась над его страхами, не верила.

Весь мир, в котором мы жили, встал вверх дном. Папе это очень не нравилось. А тут его родственники начали хлопотать об отъезде в Грецию. Еще до того отношения с мамой у отца разладились. Я часто слышала, как мама, всплыв, бросала ему упрек, что его родственники профукали ее приданое. Это была правда, но отец был очень предан этим своим родственникам, а они, в свою очередь, настраивали его против мамы. В конце концов он ушел от нас, стал жить врозь с семьей. Но нас – Лену, меня и Павла – он очень любил. Мы уже были не дети. Лена была замужем, я собиралась замуж, но никому еще об этом не говорила.

Отец давно мечтал о Греции, думал о ней, о родине, которой не знал, о земле своих предков. Мечта эта захватывала его все больше. И когда родственники начали хлопотать об отъезде, его стали раздражать противоречия. Он приходил к нам, уговаривал маму и нас поехать с ним. Мама и слышать не хотела, у нас с Леной уже была своя жизнь, я жила ожиданием, что мой жених приедет за мной. Мы отказывались.

А тем временем родственникам пришел ответ из Москвы. Ленин разрешал им уехать в Грецию<sup>13</sup>. Отец разрывался на части – поехать? остаться с нами?

Родственники его уже уехали в Новороссийск, оттуда должны были плыть морем. Отец пришел к нам совершенно убитый. Я понимала все, стала его успокаивать:

---

<sup>12</sup> Дальняя родственница, за которой Агнесса ухаживала последние годы жизни.

<sup>13</sup> В 1920-е годы, стремясь урегулировать статус насильственно выселенных или бежавших от преследований турецких греков и греческих турок, Греция и Турция заключили Анкарскую и Лозаннскую конвенции. В Греции на основании Лозаннской конвенции был в 1923 году издан указ, который создавал условия для репатриации понтийских греков.

– Что ты такой грустный, папа? Ты хочешь ехать? Поезжай в Новороссийск, там еще, может быть, и корабля не будет. А если будет, поезжай в Грецию, узнаешь, как там, напишешь. Если хорошо, приедешь за нами.

Он поехал. В Новороссийске корабль стоял уже в порту, родственники – на чемоданах. Раздумывать было некогда. И он решился. Поехал.

И – как в воду канул. Никаких вестей.

О судьбе отца мы узнали много позже, когда Павел сделал запрос – написал одному богатому греку в Афины, а тот разыскал папиного двоюродного брата Алкивиада, который и рассказал, что случилось.

На пароходе было очень тесно, все ехали на палубе. Наконец увидели свою вымечтанную Грецию. Но на берег их не пустили. Они были из большевистской России, их называли “агентами большевиков” и высадили на остров в нескончаемый карантин. Он длился и длился, было голодно, холодно, трудно. Начались эпидемии. Умерли тетя Лизика с мужем и ребенком. Начали умирать и другие братья, сестры, родственники... Отец еще крепился, он обязательно ходил к морю, купался, старался не сдаваться. Но эпидемия и его подкосила. Он тяжело болел, плакал, вспоминал детей, подолгу рассматривал фотографию, где сняты мы трое, говорил:

– Если бы Ага была со мной, я бы выздоровел!

Я была его любимицей.

Он умер. В живых из всех остался только Алкивиад.

Милая Мира, вы едете во Францию? А на берегу Средиземного моря вы будете, да? В Марселе и на Лазурном берегу?

У меня к вам просьба: привезите мне, пожалуйста, камешек с берега Средиземного моря. Море, Средиземное море, мое море... Это такая же эфемерная мечта у меня, как была у отца... Но я Средиземного моря никогда не увижу...

## Мама. Лена

Мне хочется дожить до 1986 года. Почему именно до 86-го? Тогда должна вернуться комета Галлея. Она возвращается каждые семьдесят пять – семьдесят шесть лет. В детстве я ее видела. Она приближалась с каждым днем, все вырастала в небе. Тогда пошли слухи о конце света. Некоторые даже ямы рыли – спасаться, если она столкнется с Землей.

Она появлялась и при Пушкине. Это ведь она навела его на образное сравнение с Натальей<sup>14</sup>. Помните – “Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост?”

Потом она появилась уже... Когда? Сейчас вспомню. Наверное, в 1910 году, потому что, помню, – как раз когда она была на небе, мы как-то с Леной пошли к колодцу, а там был соседский мальчик. Он нам сказал: “Толстый умер”. Мы не поняли, спросили папу. Папа объяснил, что это граф Толстой, самый большой русский писатель. Папа сильно переживал смерть Толстого, он его очень любил.

Так вот это было как раз тогда, когда появилась комета, а Толстой умер в 1910 году, значит, осенью или зимой того года.

Мне хотелось бы только дожить до ее возвращения...

Комета вернется, а юность...

Нас было трое детей в семье: Лена – старшая, потом я, потом Павел (или “Пуха”, как мы его звали).

Папа был очень начитанный. Много он вложил и в наше образование.

Вложила и мама. Она учила нас добру – подавать нищим, молиться Богу, помогать людям.

– За каждое доброе дело, – говорила она, – вам отплатится добром.

Помню, кто-то мне рассказал, как надо дразнить евреев: приставить к своему уху большой палец, растопырить пятерню и шевелить пальцами. Это называлось “свинячье ухо”. Евреи ведь не едят свинины.

Я очень обрадовалась затее, и как только пришла в школу, стала показывать “свинячье ухо” своей соседке по парте – еврейке. Но девочка ничего не поняла. Это испортило мне все удовольствие.

Я рассказала маме, как дразнила девочку “свинячьим ухом”. Мама очень рассердилась и сказала мне:

– Твоя бабушка была якутка, а отец – грек. Значит, и тебя надо дразнить за это?

А греков тоже дразнили: когда Павлику купили велосипед и он стал ездить по улице, мальчишки кричали ему вслед:

– Пиндос<sup>15</sup>, поехал на паре колес!

Моя сестра Лена была старше меня на два года, а Пухи на пять. Она по характеру была заводилой, главарем, да еще – у нас старшая. Она была вспыльчива, горяча, привыкла первенствовать, привыкла, что все лучшее – ей.

Помню, в детстве она изображала королеву на троне, но если мы с Пухой не так ей прислуживали, бросалась бить нас кулаками. А мы все терпели, чтобы не выбыть из игры. Она всегда выдумывала очень интересные игры. За эти игры мы соглашались быть ее рабами. А ей только того и надо было – властвовать, чтобы ей подчинялись беспрекословно. Правда, мы с Павлом были для нее “мелюзга”. Запросто могла нас прогнать из игры. Это ей ничего не стоило.

---

<sup>14</sup> Из экспромта Александра Пушкина, посвященного жене (1831).

<sup>15</sup> В XIX – начале XX века на Черноморском побережье Российской империи слово “пиндос” использовалось в просторечье как презрительное прозвище для черноморских греков.

Она была насмешница, могла рассмешить до слез. Уже когда я была замужем, к нам часто приходил в гости один армянин – рохля и размазня, неинтересный и скучный. И вот стала Лена играть роль, что влюблена в него. И ласкова, и предупредительна, и все ему подает, угощает, а он не понимает, что она над ним смеется, что она нарочно разыгрывает страстно влюбленную. Ну а мы знаем и только удерживаемся, чтобы не рассмеяться. Она еще пуще. Зайдет за его спину и рожки ему пальцами ставит, и рожи строит. Помню, раз Верочка не сдержалась (она у нас тогда жила) и, чтобы не расхохотаться, выскочила из-за стола.

Лена была очень красива. Мама наша имела в лице что-то монгольское – от бабушки Они. Лена была на маму похожа, но монгольского было в ней чуть-чуть, едва намечалось и придавало ее лицу это особое выражение – затаенной насмешки. В остальном же она была русская красавица. Блондинка, синие глаза, густые косы, яркий румянец, такой яркий, что, бывало, она прибежала к маме в слезах: “Мама, меня дразнят, что я щеки накарсила!” Мама утешала, а когда Лена стала постарше, посоветовала ей гуще пудриться, но и это не помогало – румянец проступал сквозь пудру.

Я была моложе. Лена расцветала, а я была еще девочка, и я носила одежду после нее. У нас было заведено – Лене покупалось новое, а я донашивала.

Но вот я стала Лену перерастать, я стала плотней ее, такая “бомба”. Тогда и мне пришлось покупать новое.

Все кругом говорили: “Толстой быть нехорошо, некрасиво”. Я им верила и все старалась поменьше есть, стесняясь, что меня так разносит. Лена говорила, что и ноги у меня толстые. Такие “бутылочки” стали. Я им всем верила, а потом стала замечать, что мужчинам такие “бомбы”, как я, нравятся гораздо больше тощих.

Лена пользовалась большим успехом у мужчин. В любой компании она всегда была первая, “душа общества”, ее острый язычок никому не давал спуску.

Когда в Майкоп пришли белые, за ней многие ухаживали. Помню, генерал Калмыков<sup>16</sup> устроил бал. Сам в темно-бордовой черкеске, со стэком. Лена была в центре внимания, ее приглашали наперебой. Но генерал Калмыков оттеснил всех. Хотя не бал ему был нужен, а резня<sup>17</sup>.

Через день белый офицер, дворянин известной фамилии, поклонник Лены, повез ее на своем выезде (прекрасные лошади были у него!) кататься за железную дорогу. Он собирался поразить ее – показать ей виселицы. Вот мужчины всегда так: обязательно им нужно воевать, убивать, уничтожать, а потом еще гордятся этим. Лена, как только поняла, куда он ее везет, приказала остановиться, повернуть обратно.

Красные расстреливали, белые вешали. Вешали за железной дорогой и на центральной площади. Было объявление: родственникам приходиться в подвалы Сазонтьева, там сложены трупы повешенных, пусть берут и хоронят.

Лене хотелось блистать по-настоящему, стать самостоятельной, хозяйкой дома, хозяйкой салона, устраивать приемы. Ей было тогда девятнадцать лет.

Она вышла замуж за белого офицера, и мечта ее исполнилась – она стала хозяйкой в своем доме и никому отчета больше не давала.

Лену любили два гимназиста – братья Роговы. Однажды старший брат встретил меня на улице:

– Это правда, что Лена вышла замуж?

---

<sup>16</sup> Скорее всего, Агнессу подводит память. Генерала Калмыкова в составе казачьей армии в Майкопе не было. Под ее описание подходит генерал Покровский, известный своей решительностью и жестокостью – и действительно всегда носивший так называемую черкеску. Черкеска – вид мужской одежды, которую носили многие командиры белых частей во время Гражданской войны.

<sup>17</sup> Действительно, в Майкопе в сентябре 1918 года после того, как части белой армии вошли в Майкоп, начался один из кровавейших эпизодов гражданской войны – было казнено более 2 тысяч человек.

Я молчу, а он с горечью:

– Что ж она не подождала? Мы скоро кончим, мы бы на ней женились.

Любила ли Лена мужа? Нет.

Она прожила с ним ровно год. Когда красные вошли в город, белые ушли без боя (по договоренности), желающие остаться сдали оружие, им обещали, что их не тронут. И они стали служить в разных местах.

Спокойно прожили год. И вдруг приказ: всем бывшим белым офицерам зарегистрироваться и прибыть на станцию Тихорецкую такого-то числа в такое-то время<sup>18</sup>.

Лена провожала мужа. До Тихорецкой ехали на лошадях. Прощаясь, он плакал. Затем Лена вернулась домой. Она мне рассказывала: ехала домой и вдруг почувствовала, что она совсем свободна. Свободна! Это была радость.

Он прислал несколько открыток с дороги. Сообщил, что едут в Архангельск. Затем все затихло.

И вдруг вернулся один из увезенных. Он рассказал, что тяжело болел тифом, в бараке лежал, свернувшись на койке, лицом к стене. Его сочли умершим и оставили.

А всех других офицеров увезли и расстреляли из пулемета. Так Лена узнала, что она вдова.

---

<sup>18</sup> Здесь Агнесса вспоминает точно – несколько десятков бывших офицеров были вывезены в 1921 году из Майкопа в Архангельские лагеря и там расстреляны.

## Зарницкий

1 У нас в Майкопе белые стояли несколько лет. Когда вошли красные, я заканчивала гимназию. Нам объявили, что мы должны сдавать политэкономия, прислали лектора.

Он был маленький, тощий. Но такая была в нем страсть ко всем этим “коммунизмам и диктатурам”, такой это был фанатик, что только дивиться можно было, как в таком хилом теле – и такой пылающий дух. Суть учения он излагал так:

– Вот есть у меня пинжак. И если у тебя его нет, то я должен его тебе отдать, и я с радостью отдам. Или рубашка, которая, как говорится, ближе к телу.

Мы, барышни, смотрели на него с удивлением. Было лето, жара стояла страшная. Я была дома. Вдруг прибегает моя подруга Лиля:

– Агнесса, что ты тут сидишь? Ты что, ничего не знаешь? Еще вчера вошла в город башкирская бригада<sup>19</sup>, а ты тут сидишь взаперти! И командиры культурные, интересные. Солдаты у них башкиры, а командиры, ну как белые офицеры! Честное слово, пойдем скорее в городской сад! Как раз они там гуляют. Сама увидишь.

Я быстро вытащила из колодца два ведра холодной воды и – в сарай. Там на земле крест-накрест сложены были жерди, я на них встала и облилась. Затем надела белое платье, чулки (тогда “на босянку” не ходили), черные лакированные туфли.

Лиля меня торопит:

– Ну что ты копаешься, они уйдут!

Мы пошли. По дороге она мне рассказывала шепотом, смущаясь:

– Мы так вчера обмишулились с Ирой, ты знаешь? Вечером мы были в саду, видим – красный командир, на фуражке красное нашито. Я и говорю Ире по-французски, но так, чтобы он слышал, что мы говорим на иностранном языке, которого он, конечно, не знает; говорю ей с пренебрежением: красное, говорю, только дураки любят, а он... Ой, ну ты только подумай – он вдруг нам по-французски тоже: “Милые барышни, вы ошибаетесь. Красный цвет – это цвет свободы!” Ох, я чуть не провалилась, мы тут же удрали. Ну, ты подумай, а? Теперь я боюсь его встретить. Правда, вчера уже темнело, он мог нас не разглядеть.

Мы пришли в сад. Сели на лавочку у спуска к реке и смотрим, выжидаем. Солнце садится, от реки повеяло прохладой, поодаль в раковине заиграл духовой оркестр.

И вот видим, идут по аллее трое, в середине – высокий, стройный, интересный, в черкеске! По бокам – один постарше, другой совсем молоденький. Я посмотрела на этого в середине, и вдруг так он мне понравился, что я подумала: если буду выходить замуж, то только за него...

А тут порыв ветра, моя синяя шелковая косынка, которую я накинула на плечи, улетела. Я – бегом за ней под откос к реке, догнала. Возвращаюсь, запыхавшись, а Лиля мне шепчет:

– Зачем ты побежала? Они все кинулись наперерез твоей косынке. Если б ты не догнала, они бы тебе ее принесли...

А они стоят поодаль, поглядывают на нас. Я быстро сообразила. Новый порыв ветра – и как будто случайно моя косынка улетает вновь. Я не стала спешить. И вот тот самый, который мне понравился, приносит ее мне.

– Как вы тут сидите, такой ветер, можно простудиться! – И смотрит на меня.

– Это приедем можно, а мы к этому климату привыкли.

И начался разговор. Тот, что был старше всех, ушел. Как мы вскоре узнали, это был командир башкирской бригады. У него была жена, семья.

<sup>19</sup> Башкирская отдельная кавалерийская бригада, сформированная на территории Башкирии (1919–1921).

А двое других – к нам на лавочку по обе стороны от нас. Тот, кого я наметила, – рядом со мной. Он назвался: Зарницкий. А другой, молоденький, – с Лилиной стороны. Он назвался тоже: Женя, но тут же поправился: Агеев. Наверное, недавно из дома, еще не привык по фамилии.

О чем мы говорили в тот первый раз? И это помню. У нас в Майкопе рассказывали такой случай. Как-то, когда красные гнали через город пленных белых, один из них сунул стоящей у дороги девушке (она смотрела на пленных) толстую палку, которая у него была в руке.

“Возьми, – сказал он, – все равно отнимут, сохрани ее. Ты только скажи – кто ты?” Она показала на дом: “Я здесь живу”.

Взяла палку, повертела. Палка как палка. Почему надо было ее хранить? Но сохранила. Потом пленных отпустили, и он пришел. Разобрал набалдашник палки, а там – деньги. Много, туго скручены. Деньги эти ходили при белых, он надеялся, что белые вернуться.

Наши кавалеры смеялись:

– Не вернуться уже! Конечно, интервенция, Антанта<sup>20</sup>... Но – отобьемся, обязательно отобьемся!

И вдруг Агеев, Женя, говорит Лиле:

– А я думал, что вы говорите только по-французски!

Она вскинула на него глаза – узнала. Тут же дернулась удрать, но я удержала. А Женя ей:

– Пожалуйста, не удирайте, как вчера.

Мы стали встречаться. Женя только год назад кончил гимназию и пошел добровольцем в Красную Армию “сражаться за свободу народа”, как он говорил. До того, еще в гимназии, он участвовал в нелегальных кружках. У них с Лилей начался роман, но Женю вскоре куда-то услали.

В Майкопе был театр “Двадцатый век” и там же кабаре. На сцене идет представление, а в зале столики, можно смотреть представление и закусывать. Потом столики сдвигали и устраивали танцы. Иван Александрович (так звали Зарницкого) хорошо танцевал. Он был на десять лет старше меня.

Однажды мы пошли гулять втроем – он, Лиля и я. Началась гроза, ливень. Мы спрятались под дырявый навес. В яркой вспышке молнии, как блестящие стеклянные стержни, видны были струи дождя, льющего в щели крыши. Наконец нашли место, где не текло. Но успели уже вымокнуть. Когда ливень стих, Зарницкий пошел меня провожать. А на мне была красная шляпка, она линяла. Зарницкий был в белой рубашке (в цивильном), он взял меня под руку, а я склонилась к нему, и краска со шляпки стекала на его рубашку. Только утром он заметил, что рубашка его вся в красных разводах.

Как помнятся такие мелочи! Все имеет какой-то особый смысл в начале любви.

Ливень и шляпка – это было уже после того, как Иван Александрович стал открыто отдавать мне предпочтение. Я поняла это сразу, но он был человек воспитанный, вежливый и первое время, пока Женя отсутствовал, оказывал внимание и Лиле – делил свое внимание между нами. Но все яснее становилось, что нужна ему я. Как-то мы сидели в кино, в темноте, шел фильм “Отец Сергей” с Мозжухиным<sup>21</sup> в главной роли. Иван Александрович сидел между мной и Лилей. Он взял наши руки в свои. Но потом поднял мою и безмолвно поцеловал – прикоснулся губами.

– Какие крепкие зубы! – воскликнула я.

– У кого зубы? – удивилась Лиля, которая его поцелуя не заметила.

---

<sup>20</sup> Антанта (*фр. entente – соглашение*) – военно-политический блок России, Англии и Франции, создан в 1904–1907. Войска Антанты в разные периоды гражданской войны противостояли большевикам. В 1919 вошли в Закавказье, не очень далеко от Майкопа.

<sup>21</sup> “Отец Сергей” (1918) – знаменитый немой фильм Якова Протазанова. Исполнитель главной роли – актер Иван Мозжухин – звезда российского немого кино.

– Конечно, у меня! – ответила я непонятно. В тот миг у нас с Зарницким получилось словно какое-то тайное объединение, как будто мы очертили себя волшебным кругом: то, что внутри, было только наше, а Лиля осталась за кругом.

Вскоре она поняла это. Но ничуть не обиделась. Вернулся Женя, и их роман получил продолжение.

А я вот не могла бы тогда влюбиться в однолетку, как и я, недавно окончившего гимназию. Меня влекло к мужчинам старше, уже повидавшим что-то на своем веку. Мне и потом нравились только такие, перед умом и авторитетом или силой и доблестью которых я могла преклоняться. Таким был Зарницкий.

Мы много гуляли с ним по городу, чаще всего вечерами, когда можно было где-нибудь под покровом тенистого дерева или в другом укромном местечке целоваться. Меня удивляло, что Зарницкий так сдержан. Другие меня уже так целовали, бывало насилу отобьешься, а он – ничего подобного.

Когда провожал меня, инициатива разлуки всегда исходила от него. “Пора спать”, – говорил он, и мы прощались.

Целовал меня крепко, но прерывал поцелуй всегда он. И уходил. Я недоумевала. Я к такому не привыкла. Называли мы друг друга на “вы”.

Он сделал мне предложение перед самым уходом бригады. Нельзя было долго раздумывать, и я согласилась. Он сказал:

– Я приеду за вами, как только где-нибудь обоснуюсь.

И стали приходиться ко мне толстые письма в голубых конвертах. Я отвечала.

Лена в юности меня ни в грош не ставила, всегда смеялась над моими поклонниками. А Зарницкий... над ним она не смеялась, понимая ему цену и недоумевая, вероятно, как это я сумела “закрутить” с таким. Они с Таней Каплановой – ее подругой – дразнили меня:

– Чего ты ждешь? Сколько других кругом, а ты все ждешь! Нам говорили, что в Петрограде у него невеста. Столичная. Куда тебе против нее! Ты даже и вести себя в Петрограде не сумеешь!

А я только губу закушу – и ни слова. Уйду и про себя все возражаю, возражаю... “Я, если хотите знать, даже за столом королей смогу себя держать как надо!.. И если б у него была невеста, если бы я была ему не нужна, то зачем бы он писал мне так часто, так длинно? Если бы я была ему не нужна, – то уехал бы и все бы на этом кончилось!”

Так я отбивалась мысленно, пока были от него письма, а потом они прекратились. А Лена и Таня встретят и давай смеяться:

– Ну, госпожа Зарницкая, где же твой жених? Мы же говорили тебе – не жди его! Чего ты ждешь, он давно и думать о тебе забыл!

Ну почему Лена бывала такой жестокой? Насмешница, – я уже говорила, такой был ее характер, – но неужели как женщина она не понимала, что разрывает мне душу? Или на этот раз она завидовала мне?

Когда почтальон приносил мне письма, я, бывало, отдавала ему всю мелочь, которую могла наскрести. А тут еще издали его завизжу, а он мне: “Ничего для вас нету, барышня”. Я и перестала выбегать ему навстречу – стыдно.

Мы тогда уже жили втроем – мама, Пуха и я. Папа еще в июне уехал в Грецию. Лена, проводив мужа, жила в его квартире свободной и самостоятельной хозяйкой, проматывая оставленное ей добро.

А к нам стал ходить Абрам Ильич. Он очень за мной ухаживал. Он тоже был военный, в военной форме. Все время делал мне мелкие подарки, например, купил черные, облегающие руку перчатки. Я бывала с ним в кино, в театре, но после Зарницкого мне никто не нравился.

Абрам Ильич приходил к нам пить чай. Мама как-то мне сказала: “А он неплохой, знаешь...” Она тоже стала думать, что я жду Зарницкого напрасно.

– Ну что же, что неплохой, – отвечала я, – но мне с ним скучно.

Однажды мы шли по улице втроем – мама, Абрам Ильич и я. И вдруг навстречу нам какая-то особа из “бывших”, предлагает купить у нее персидский ковер, и так пристала: “Купите, купите, не пожалеете”, – что мы завернули к ней посмотреть. Ковер действительно был прекрасный.

– А сколько он стоит? – спросила мама.

– Сто пятьдесят миллионов<sup>22</sup>.

– У меня столько нет.

– А сколько дадите?

– У меня всего пятьдесят миллионов.

– Ну, это слишком дешево!

И вдруг вмешался Абрам Ильич:

– Я даю еще сто миллионов. Теперь у вас, Марья Ивановна, хватит, чтоб его купить.

– Спасибо, большое спасибо. Я вам эти деньги верну.

И Абрам Ильич сам повесил нам ковер над тахтой. Но все это было не то, не то, не то... Я ждала, я не могла поверить, что все кончено после таких встреч и таких писем!

Не могло этого быть! Я не выдержала, спросила у Лили:

– Женя тебе пишет?

– Пишет. А что?

Я промолчала. Но через некоторое время:

– Дай мне его адрес.

– Зачем тебе? – насторожилась она.

– Я что-то хочу у него спросить.

Она дала – неохотно. Уж что она вообразила, не знаю. Я запросила Женю о Зарницком. Он мне ответил: “Я ничего о нем не знаю. Мы с ним уже два месяца как расстались, теперь мы в разных частях, в разных местах...”

Как же я переживала!

И вдруг... Вижу, идет почтальон по двору, машет издали голубым конвертом... я сразу кинулась искать мелочь. Какая же это была радость, как сразу отлегло, как стало весело, хорошо жить!

Зарницкий писал, что три месяца лежал в сыпняке, что еще очень слаб, но выздоравливает. А затем пришло еще письмо, что он обосновался в Ростове надолго. “Приеду за вами 16 августа, ждите”.

– Ну что? – сказала я Лене и Тане. – Что? Кто говорил, что, мол, напрасно ты ждешь? Они молчат.

И вот шестнадцатое августа.

Мы жили около вокзала. Вижу в окно – извозчики подтягивают свои фаэтоны к вокзалу, к ростовскому поезду. Мысленно представляю себе: вот пришел поезд, сейчас поедут обратно с сидоками. Вот едут! Один проехал – не он... Другой, третий... Все уже проехали, а его нет.

Так я просидела весь день. Были и другие поезда, я все ждала – может быть, с этим приедет или с этим? Он не приехал.

– Ну, мадам Зарницкая, – спросила Лена на другой день, – где же ваш жених?

Теперь уж я молчу.

Через несколько дней я написала Зарницкому письмо: вы, мол, не приехали в назначенный день, вероятно, я вам не нужна и мы оба можем считать себя свободными.

Ответа нет. Опять почтальон, когда заходит во двор, ко мне не обращается или шутиливо: “А вам пишут”. Сколько лет этому “утешению”!

---

<sup>22</sup> Это был период огромной инфляции, фактически разрушения всей денежной системы.

Но я думаю: не может Зарницкий мне не ответить на такое письмо.

И письмо пришло! “Вы напрасно на меня обиделись, – писал Зарницкий. – Я не мог приехать за вами. Я сейчас имею должность начальника штаба погранвойск Северного Кавказа. Командующий погранвойсками уехал, и я не могу оставить штаб. Я пришлю своего адъютанта. 20 октября он приедет за вами”.

Но опять двадцатого никого не было. Через день или два я ушла из дому, а мама до вечера была на базаре. Приходим домой, соседка нам говорит: “Тут к вам военный приходил, целый день вас ждал, сказал, что зайдет завтра утром, сказал, чтобы вы ждали его до двенадцати”.

По описанию – не Зарницкий. Значит, сам не смог, значит, его адъютант. На следующий день жду его. Приходит. Молоденький, розовощекий (между собой мы стали называть его “поросеночком”). Он был татарин, с татарской фамилией, но я ее забыла. Потом он стал наркомом Татарской республики на Волге. У Евгении Гинзбург в “Крутом маршруте” он упоминается<sup>23</sup>.

Он принес мне письмо от Зарницкого, чтобы я ехала с ним к Зарницкому в Ростов. Я заволновалась, пригласила “поросеночка” на обед, побежала к маме на базар (она там распродавала вещи – этим мы и жили).

Бегу к маме, а она навстречу. Несет судака. Обрадовалась: вот хорошо, будет чем угостить. Приготовили на первое борщ, на второе – судака в соусе. Мама рада, волнуется.

– Только вот что, Ага, как же ты поедешь? Ведь у тебя ничего нет, даже простыню и ту... не возьмешь же с собой свою латаную?

И порешили так. Я сейчас не поеду. Напишу Зарницкому, что еще не готова. Через месяц буду готова, тогда и присылайте за мной. Так и сделали.

Срочно стали собирать приданое. Для этого мы продали рояль. Когда нас выселяли из особняка генерала, мы въехали в небольшую квартиру, поставить рояль было некуда и он стоял у знакомых. Мы его продали.

Купили материала и нашили простынь, на старое ватное одеяло сшили пододеяльник, сшили мне платья – черное, голубое, белое. Ложки, посуду купили на толкучке. Кое-какое серебро у мамы оставалось. Она мне его дала. И старинное большое зеркало, что некогда стояло еще в Барнауле, в доме тех богатых поляков, которые сделали своим наследником дедушку.

Лена сказала:

– А я? А мне? А мне ничего? Вот это будет мне. Мама, дай мне это зеркало.

Ей всегда все отдавали. Но на этот раз мама напомнила Лене, что в свое время она получила приданое, еще при папе, и гораздо больше и лучше было это приданое, чем мое.

Мама поставила два условия: во-первых, венчаться в церкви и, во-вторых, меня сопровождать поедет Лена. Это Лена настояла, ей очень хотелось поехать в Ростов, а мама была рада – все-таки приличнее как-то с сестрой.

2 Ровно через месяц, теперь уже без опоздания, “поросеночек” приехал за мной. Это было 20 ноября 1922 года. Мне было девятнадцать лет, почти двадцать.

И вот мы отправились в путь – “картина, корзина, картонка...”<sup>24</sup>Чемоданов у нас тогда не было, только маленький чемоданчик при мне. В нем я везла самое ценное – серебряные ложки, – не выпуская из рук. Были баулы, узлы, упакованное в солому и в рогажу, перевязанное зеркало, и т. д., и т. д.

Вокзал. Поезд. Посадка.

---

<sup>23</sup> Никто из упоминаемых в воспоминаниях Евгении Гинзбург лиц не подходит под это описание.

<sup>24</sup> Строчки из известного стихотворения советского детского поэта Самуила Маршак: “Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку...”

Посадка! Это был ужас что такое! Тогда люди ехали даже на крышах. А мы с такими вещами – и в классный вагон. Мы бы с Леной, конечно, не сели, если бы не “поросеночек” и еще один военный – артиллерист, который сразу вызвался нам помогать. В драке, в свалке они втолкнули вещи, затем втиснулась Лена, а я – последняя вскочила на ступеньки, когда поезд уже тронулся. (Я не лезла вперед, я держалась скромно, в душе сознавая свое право самого главного лица здесь, но из-за этого своего “достоинства”, которое хотела соблюсти, чуть не осталась.) Когда я уже прыгнула на ступеньки, слышу вопли и рыдания нашей майкопской соседки из толпы оставшихся: “Лена, Ага, вы едете, а я вот с детьми остаюсь!” Но я ничем не могла ей помочь.

Посадка была дикая, но в вагоне неожиданно оказалось спокойнее и просторнее, чем можно было ожидать. Конечно, мест не было, но хоть не стояли впритычку.

Я протолкалась вперед, смотрю – наши сопровождающие заняли места на нижних полках, вещами завалили все на полу – и под полками (прежде под сиденьями не было ящиков для вещей) и между полками. На третьи полки вещи поднять было нельзя – всюду люди. Завалили все нашими вещами. Артиллерист, он был одессит, предупреждает:

– Приглядывайте, а то могут “ножки приделать” коробкам вашим под полками. И мы все время проверяли – тут ли они? Тогда кражи были страшные.

Поехали. А на средних полках и наверху ехали какие-то интеллигентные люди, как оказалось, инженеры и один музыкант. Как только они разглядели Лену и услышали ее реплики, они тотчас спустились вниз, наши вещи подняли на свои полки, а сами примостились с нами внизу на наши лавки и на два узла, которые поднять не удалось. Эти мужчины и артиллерист сосредоточили свое внимание на Лене, как это всегда бывало. Только “поросеночек” оставался мой. И Лена заблестала в центре нашего общества.

Моя сестрица меня всегда забивала, я всегда была на заднем плане и к этому привыкла. Но тут она ко мне снизошла. “Ты ложись, Ага, – сказала она мне по-сестрински, – за наши спины и спи, я тебя укурю своим пальто”. Я легла, но спать не могла – мешали волнение и взрывы смеха, которые всю ночь потрясали наше купе.

Конечно, Лена рассказала, что мы едем в Ростов на свадьбу. Когда она сказала, что невеста не она, а я, они не поверили, решили, что Лена их разыгрывает.

На станциях опять люди лезли с мешками и ящиками, но и тех, кто втискивался, наши к себе в купе старались не пустить, а когда у них требовали снять с полок вещи, безапелляционно заявляли, что это их полки и что они сейчас там лягут. Надо сказать, наши интеллигенты весьма агрессивно отбивались – кто бы мог подумать! “Поросеночек” и артиллерист тоже не сплеховали. Еще помогало то, что купе было далеко от двери, почти последнее, и пока до нас доходили, люди успевали рассосаться. В общем, ехали мы по тем временам очень комфортно.

В Армавире была у нас пересадка. Мы вытряхнулись на перрон со всеми нашими баулами, узлами и пакетами. Сели на вещи, решили, что тут и будем ждать поезда. И вдруг на площади появляется роскошный выезд. Лошади белые, холеные. Соскакивает стройный военный (очень интересный, если бы не прыщи), спрашивает: “Кто тут Агнесса Аргиропуло?”

Оказывается, из Ростова позвонили, что едет невеста Зарницкого, чтобы местное отделение ЧК<sup>25</sup> приняло хорошо. Ведь Зарницкий был для них высоким начальством.

Военный, который нас встретил, сразу влюбился в Лену и все вился вокруг нее, называл “невестой Ивана Александровича”.

Лена возражала: “Да что вы? Разве я невеста? Вот невеста”. А он смеялся и тоже, как те, в поезде, не верил. Мол, не может быть, э, меня не проведешь!

---

<sup>25</sup> ЧК – ВЧК СНК РСФСР – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, созданная в 1917.

Привез нас и “поросеночка” в реквизированный особняк. Входишь – мебель старинная, обитая бархатом, обстановка роскошная, только, конечно, все запаршивлено, как всегда бывало при советской власти.

На столе ужин – какао и яичница.

Когда мы ужинали, пришли еще чекисты, и, конечно, Лена царила. Я держалась скромно. И опять та же самая история: не верят, что невеста – я.

Столовая находилась на втором этаже. Оттуда нас проводили вниз. Там была роскошная спальня с большой двуспальной кроватью. Чистые простыни, хорошее одеяло, только холодно! Но тут пришла женщина (сказали, что она будет нам помогать) и заботливо заторопилась: “Я сейчас затоплю, барышни!” – и затопила печь.

– А вот тут ведро, если вам понадобится. Я утром вынесу.

Канализация, ванна – все это, конечно, не работало: водопроводные трубы полопались еще прошлой зимой.

Утром опять яичница и какао. Потом нас отвезли на фаэтоне на станцию. Пришел поезд на Ростов, посадка – как вчера. Чекисты с боя брали для нас вагон. Помню обледенелые ступени, мы с трудом влезли. Вскочив в вагон раньше всех, чекисты уже заняли для нас хорошие места в глубине вагона. И опять, едва появилась Лена, ей – всеобщее внимание: “Леночка, Леночка!” И опять шум, смех.

А я села на маленькую лавочку у окна и смотрю на черноту за окном. Даже мелькания столбов не видно. Электричества в поезде нет. Где-то в середине вагона в фонаре свечка.

Надышали, было не холодно. Сижу, вся ушла в свои мечты. Представляю, как он меня встретит, как я предстану перед ним в черном элегантном пальто и в черной шляпке, в облегчающих руку черных перчатках (подарок Абрама Ильича), надушенная французскими духами (тоже подарок Абрама Ильича). Мама дала мне в приданое и персидский ковер, купленный на деньги Абрама Ильича. Я не хотела брать: “Ну как же, мама!” – воскликнула я с укором, но она мне: “Ничего, бери, не стесняйся, я с ним рассчитуюсь”.

Поезд прибывает в Ростов в шесть часов утра. Глубокая осень – конец ноября, еще ночь, темно... Но вдруг впереди – огни. Море огней. Вся станция залита электрическим светом. Я еще никогда не видела такого освещения. Вот что значит большой город! Я подумала, что это хорошее предзнаменование.

Сошли на перрон. Я прихорошилась еще в вагоне, сердце замирает – вот сейчас он встретит, поцелует, а от меня – тонкий аромат...

Но – никого. Ни-ко-го. Перрон пуст. Только мы со своими “картиной, корзиной, картонкой...”. “Поросеночек” видит, как я расстроилась, побежал на станцию узнавать. Позвонил оттуда по телефону в штаб. Вернулся обратно, рассказывает: Зарницкий, когда узнал, что мы приехали, страшно взволновался. Оказывается, он уже два дня нас встречал, а нас все не было. И как раз сегодня он не пошел встречать. Но сейчас будет.

И вот цоканье копыт, едет фаэтон, и на залитом светом перроне вижу – быстро, быстро, почти бежит к нам в длинной шинели “с разговорами”, стройный, на голове “спринцовка” буденовская с красной звездой<sup>26</sup>. Запыхался, взволнован.

– Видите, я вас сегодня не ждал, я даже небрит... Вы уж простите! – нетерпеливо заглядывает мне в лицо, но не поцеловал при всех, только смотрит на меня.

А тут приехавшие с нами военные и “поросеночек” подхватили наши “корзины, картины, картонки”... Зарницкий крепко взял меня под руку и повел вперед, забыв про Лену. Она тотчас обиделась.

– А я? – воскликнула она.

– Да, да, Леночка! – И второй рукой взял и ее под руку.

---

<sup>26</sup> Остроконечная красноармейская шапка, которую называли “буденовкой”.

И тут я впервые почувствовала, что отныне первая дама – я.

З Зарницкий жил, как и армавирцы, в большом реквизированном особняке. Это был дом ЧК. Зарницкий занимал там только две комнаты, хотя он был начальство. Во всех других комнатах жили его подчиненные с семьями. Особняк этот был, как большая коммунальная квартира.

Иван Александрович предупредил меня: все соседи по дому знают, что он ждет невесту, и, когда мы приедем, изо всех дверей будут высовываться любопытные лица – какая я? Так оно и оказалось. Лица все были женские.

Иван Александрович провел нас в свои комнаты, в спальню, чтобы мы могли переодеться с дороги. Там была его кровать. Как только он вышел, Лена приподняла одеяло на его постели.

– Смотри, на чем спит твой жених! – И показала на рваные простыни. Как хорошо, что мне сделали приданое!

Потом мы завтракали в другой его комнате, и нам принесли яичницу и какао. Наверное, ничего другого у чекистов не было ни здесь, ни в Армавире.

До свадьбы мы с Леной жили не у Зарницкого, а у нашей родственницы.

Я сказала Ивану Александровичу, что иначе не согласна, как венчаться.

– Ну что же, – сказал он, – будем венчаться.

Он не протестовал, я уже знала, что его отец – священник. Мне в поезде об этом рассказал “поросеночек”. Я тогда удивилась, я думала, он еврей.

Со свадьбой надо было очень спешить, потому что начинался пост, а в пост не венчают.

Была масса хлопот, готовились к свадьбе, украшали нашу комнату. Всюду стояли цветы – осенние хризантемы. А над брачной кроватью – персидский ковер Абрама Ильича.

Накануне расписались мы в каком-то темном, мрачном, казенном здании. Нам выдали справку, что в ростовской книге записей актов гражданского состояния мы зарегистрированы как муж и жена.

На другой день – венчание в церкви. Перед венчанием мы с Леной поехали в особняк к Ивану Александровичу. Я заглянула в шкаф, а там сложены разнообразные торты, пироги. Это соседки напекли нам на свадьбу. Ивана Александровича все любили.

Соседки пришли спрашивать, есть ли у меня скатерть. У меня была, но только одна. Я сказала, что есть простыни (опять я подумала: как хорошо, что мама позаботилась о приданом!). Моими простынями и накрыли столы. Правда, потом они все оказались в пятнах, но в китайской прачечной их отстирали. (Были у нас тогда китайские прачечные<sup>27</sup>, как там хорошо стирали!)

Иван Александрович сказал мне:

– Ага, я пригласил парикмахера, он вас причешет. Парикмахер опаздывал, мы нервничали, я уже была в подвенечном платье. Наконец он пришел. Он мне сделал прекрасную прическу – крупные локоны, вокруг головы венчик из крупных кудрей. Волосы у меня были тогда каштановые, густые, блестящие – не то что сейчас.

Меня парикмахер завил, начал завивать Лену (она была по моде коротко стрижена), но тут пришел Зарницкий:

– Нужно ехать, пора!

Лена изумилась:

– А как же я?

Она именно изумилась, так как всегда привыкла быть главным лицом. Иван Александрович извинился:

– Вы уж извините, Леночка, но время назначено, опоздать туда нельзя.

---

<sup>27</sup> До революции в России традиционными были прачечные, в которых работали китайцы.

Лена надулась, но пришлось ей ехать недозавитой.

Батюшка венчал сразу три пары, водил нас вокруг аналоя, в церкви пели: “Исайя ликуй!”

Потом – свадебный ужин в большом зале особняка.

Было шумно, весело, много ели, пили; не всегда удавалось попробовать такие блюда. Двенадцать часов ночи, потом – два часа, четыре, а свадьба все не расходилась. Пили, танцевали, кричали нам: “Горько!” Я страшно устала. Иван Александрович понял это. “Пойдемте?” – осторожно предложил он мне. Мы пошли к себе в комнату, а там дышать нечем – столько цветов поставлено! Нас проводила Лена.

Вот вы мне говорили об индийской книге “Камасутра”, как там предписывается мужчине в интимные минуты следить за выражением лица женщины и ласкать ее так, чтобы и ей было хорошо, тогда ему будет еще лучше.

Так вот я вам расскажу об Иване Александровиче... хотя он “Камасутру” и не читал.

Мы остались вдвоем в комнате. Я увидела себя в зеркале – бледна, как смерть. “Прилягте”, – сказал Иван Александрович. Постель была разобрана: новые чистые простыни, привезенные мной, старого одеяла не видно – на нем сияющий белизной пододеяльник.

Я сказала:

– Прилягу, но с одним условием, что я буду спать здесь, а вы – вот там. – И указала место у двери.

Он засмеялся:

– Хорошо!

– И отвернитесь, пока я разденусь!

Он послушно и весело соглашался на все. Отвернулся, я легла в кровать. Сердце стучало у меня, как молоток.

– Я очень прошу вас, накапайте мне валериановых капель!

Он подал мне, укрытой до подбородка, стакан с валериановыми каплями, я выпила. Я очень устала за день. Приготовления, венчание, пир, но главное – я весь день волновалась, ожидая вечера, ночи. Я была девушка, тайное, что меня ожидало, не выходило у меня из головы.

За столом я все пила вино, чтобы набраться смелости. Иван Александрович говорил мне: “Не пейте!” А я не слушалась, пила и пила. И вот сейчас сердце стучало. Но – выпила капли, повернулась лицом к стене и – поверите ли – сразу заснула, да так крепко, словно в яму провалилась.

Проснулась – светло! Соседи уже ходят. Посмотрела – я одна на кровати. Иван Александрович на стуле у двери. Я подумала сперва – вот хорошо, а потом: как же так, ведь это наша брачная ночь!

Встала и на цыпочках подошла к нему в длинной своей рубашке. Это была купленная на толкучке старинная рубашка, вся в кружевах-воланах, на плечах – розовые банты. Я ее надела под свое подвенечное платье, розовые банты эти нет-нет да и выглядывали из-под моего декольте, и Лена поправляла... даже в церкви.

Подошла, смотрю – спит. Нет, не спит! Глаза тотчас открыл, смеется. Тогда я его быстро поцеловала и – назад в постель. Это было приглашение. Он ему последовал. Сел на край кровати, стал обнимать, целовать, сперва осторожно, затем все пылче, страстней. Потом он вспоминал: “Я тебя обнимаю, а под руками все кружева, кружева, одни кружева, тебя за ними не найдешь!”

Соседи деликатничали, не беспокоили. Но в двенадцать часов дня не выдержали, постучали в дверь:

– Вы живы ли там?

Мы вышли к столу. Я надела черное платье с золотой вышивкой. Шею закрыла золотистой вуалеткой, чтобы не видны были следы поцелуев.

4 Когда я готовила приданое и уехала к Зарницкому, Абрама Ильича не было в городе. Это было для меня большим облегчением. Он вернулся после моего отъезда. Конечно, ему тотчас донесли, что я вышла замуж.

Он пришел к нам. В кухне был Пуха.

– Здорово, парнишка, – сказал Пухе мрачный Абрам Ильич, но не остановился, а прошел к соседям, вероятно, хотел проверить, верны ли слухи.

Соседи ему и сказали про персидский ковер. Вышел от них.

– А Мария Ивановна дома?

– Дома.

Он постучал, открыл нашу дверь.

– Здравствуйте, Мария Ивановна, нам надо с вами рассчитаться. У нас с вами одно дельце не закончено.

А мама ему в истерике (денег у нее, как всегда, не было):

– Я вам все верну! Все отдам! Только сейчас у меня ничего нет! Я достану денег и верну!

Но вдруг нашла выход, все повернула, успокоилась:

– Отдам, конечно, хотя вы ходили к нам целый год пить чай, и я вас кормила в такое трудное время, все это тоже чего-то стоит! Но я вам отдам...

Абрам Ильич:

– Не надо. – И вышел.

Много спустя, уже после войны, Таня Капанова встретила Абрама Ильича в Москве. Ехала в трамвае, и вдруг какой-то пожилой полный мужчина ее спросил:

– А вы, случайно, не бывали в Майкопе?

– Бывала. Я оттуда.

– То-то я вроде вас узнал. А вы там Аргиропуло не знали?

– Как же, знала.

– Кого же из них?

– Всех, всю семью.

Он назвал. Таня вспомнила. Стал расспрашивать обо мне. Спросил:

– А как ее фамилия сейчас?

– Миронова.

– Миронова? А почему не Зарницкая?

– Они с Зарницким разошлись. Он возликовал:

– Я так и знал! Я это говорил! Я предчувствовал! А знаете, крепко зацепила меня тогда эта Агнесса Аргиропуло.

Стал рассказывать о себе: женат, дети, заведует рыбным магазином на Сретенке.

– Приходите, когда вам что-нибудь будет нужно, вызовите заведующего – меня.

Таня как-то зашла, вызвала. Он взял ее сумку, ушел, вернулся, а в сумке – чего только нет! И балык, и икра, и крабы-консервы.

И говорит:

– Платите в кассу один рубль восемьдесят копеек.

Она была у него еще раз, и опять все повторилось. Потом она сказала мне:

– Пойдем со мной?

Я оторопела:

– Да ты что, с ума сошла, что ли?

5 Да, балык... Помню, нам с Иваном Александровичем балык этот осточертел. Это была огромная рыба. Кто-то из подчиненных подарил ему копченый балык. Мы повесили его в кладовке, где хранили уголь. Он оказался выше моего роста. Я отрезала от него каждый день

нам с Иваном Александровичем и другим, а балыку все конца не было. С него стекал жир, и пол под ним был жирный.

Балык этот, хоть и надоел, был нам очень кстати. Я ничего не умела делать, была бесхозяйственна, не помню, как мы и питались. Потом приехала к нам жить мама, ну тогда дело пошло.

А вскоре в Ростов перебралась и Лена. Вот как это случилось.

Ее любил Вася Гончаренко. И она его любила. Вася был очень способный человек. Прекрасно рисовал, пел. У него был красивый баритон. Он иногда выступал в концертах. И вот однажды ему привелось петь дуэт с девушкой-сопрано. Лена сидела в зале, ей показалось, что певцы держат себя слишком интимно. Она тотчас вспылила, возненавидела его, решила с ним порвать, просто-напросто яростно приревновала, – она ведь была по характеру собственница. Она бросила все в Майкопе и приехала ко мне в Ростов.

В Ростове в нее влюбился красивый интересный человек, начался роман, но возлюбленный этот тоже чем-то рассердил Лену, что-то сделал не так, и она с ним порвала.

А он хотел помириться. Помню, я встретила его на улице, пригласила к нам, он встрепнулся, посветлел.

– Это Лена поручила вам меня пригласить?

Мне пришлось признаться, что нет.

Тогда, после ссоры, она тотчас вышла замуж за инженера Сухотина, может быть, назло. Сухотина она не любила. Но он был хорошо обеспечен, и Лена могла красиво одеваться, блистать.

Сухотину было тридцать шесть лет, Лене немногим больше двадцати. От него она родила сына – Борю.

Боре было одиннадцать месяцев, когда как-то наедине с Леной я завела откровенный разговор на интимные темы. И вдруг Лена сказала:

– Вот уже больше года, как у меня нет мужа. Я и прежде замечала, что он глотает какие-то пилюли, а теперь, вероятно, и они не помогают.

Она говорила с раздражением и презрением.

А тут как раз в Ростове появился Вася Гончаренко, может быть, он и приехал из-за Лены. Вася начал к ним ходить, они стали жить втроем. Лена забеременела, сделала аборт. Вася возмутился.

Сухотин его ненавидел – тайно, не показывая Лене: не смел. Когда приходили гости, Вася пел, сопровождали Лена или я (нас всех в детстве учили музыке). Вася поет, а Сухотин прикроется, бывало, газетой, будто читает, но, если я прохожу мимо, шепнет мне:

– И когда это он выть перестанет? – И опять закроется газетой.

Сухотин был очень рассеян. Прощаясь, целует дамам руки. Зарницкий иной раз протянет руку, он и ему поцелует. Как-то всыпал в чай вместо сахара соль. И пьет, не замечает. Лена с раздражением:

– Что ты пьешь, это же солоно!

Может быть, он весь был в своей работе – дома всегда обложится книгами, иностранными техническими журналами. Он был хороший инженер. Его обвинили во вредительстве, арестовали, осудили, послали в лагерь. Лена, надо отдать ей справедливость, исправно посылала ему посылки.

Она не была меркантильной. Наоборот, она была непрактичной, иногда могла расфукать и расшвырять все сразу. Она была щедра, ничего не жалела для тех, кого любила.

После ареста Сухотина спустя какое-то время Лена вышла замуж за Васю. От него у нее родилась дочь Ника.

6 Хотя я была бесхозяйственна и ничего не умела делать, но, когда мы поехали к родителям Ивана Александровича знакомиться, я очень старалась помогать им по хозяйству. Это я настояла, чтобы мы к ним поехали. Иван Александрович избегал, не хотел общаться. Он ведь был начальник штаба Северо-Кавказских пограничных войск. И ему никак не хотелось афишировать, что он сын попа. Еще хуже – во время голода в Поволжье писали во всех газетах о больших богатствах церкви, утаенных попами, о том, что попы не хотят их дать голодающим, и там упоминалась фамилия его отца<sup>28</sup>. Все это была ложь, но в газетах писали, и Ивану Александровичу это могло испортить карьеру. И он не поддерживал с родителями никакой связи.

А я настояла. Как же так – родные отец и мать, братья, сестры, а он – старший сын – ничего о них даже не знает! Иван Александрович делал всегда все, что я захочу, ни в чем мне никогда не отказывал. И мы поехали под Ленинград, в Мурино, где жили тогда его родители.

У отца был приход в муринской церкви. Семья большая, много детей, среди сестер и братьев Ивана Александровича были еще совсем маленькие.

Помню, как хорошо нас встретили. Отец был рад, тронут, счастлив, мать от радости расплакалась. Иван Александрович тоже был счастлив, ему очень хотелось, чтобы я понравилась его родителям.

В самый первый день нашего приезда я услышала через открытое окно (я играла в саду с младшими детьми), как он в комнате расхваливал меня:

– Знаешь, мама, она все может, все умеет, у нее такие ловкие руки! Теперь стали модны туфли с бисерной пряжкой, так она сама сделала эту бисерную пряжку и лучше, чем в магазине. Ты только подумай! А вязаная шапочка с кисточкой, она сама связала такую, и даже кисточку эту! Это же очень хитрое дело!

Мне и самой хотелось им нравиться, я все старалась чистить, убирать в доме. Помню, стала подметать одну из комнат, а сестра Ивана Александровича и говорит мне:

– Не надо, тут у нас не метут, это у нас “медовая комната”, мы в ней только вытираем мокрым.

Я им понравилась, и не только потому, что старалась. Они уже не чаяли увидеть сына, а я им его вернула.

После убийства Кирова<sup>29</sup> их выслали. Тогда арестовывали, высылали, расстреливали в Ленинграде всех “бывших”: дворян, попов, всех, кто был “подмочен”. В эту волну попали и они.

7 Иван Александрович хотя до меня не встречался с родителями, но не скрывал, что он попович. К нему назначили инспектора – Фриновского<sup>30</sup>. Фриновский Михаил – лицо широкое, как блин, глазки маленькие, жесткие – был не промах насчет вещей. Иван Александрович недоумевал, что это за люди – все берут, все тащат, совсем не то, что прежние товарищи Ивана Александровича, да и сам он, который спал до моего приезда на рваной простыне.

Агнесса вспоминает точно: в этот момент Фриновский – старший инспектор Инспекции войск Полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю.

---

<sup>28</sup> Изъятие церковных ценностей в России в 1922 году – реквизиция, осуществленная советской властью под предлогом борьбы с массовым голодом в Поволжье и других регионах. Кампания сопровождалась репрессиями против священников.

<sup>29</sup> Киров Сергей Миронович (1886–1934) – советский партийный деятель, член Политбюро ВКП(б), Первый секретарь Ленинградского горкома и обкома ВКП(б). Убит в результате покушения. Его убийство было использовано Сталиным для развертывания репрессий, прежде всего в Ленинграде. Началась высылка так называемых “бывших людей” – дворян, фабрикантов, домовладельцев, чиновников, священнослужителей. Всего были осуждены Особым совещанием при НКВД к высылке свыше 11 тыс. человек.

<sup>30</sup> Фриновский Михаил Петрович (1898–1940) – деятель советских органов госбезопасности. Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Один из непосредственных организаторов Большого террора. Арестован 6 апреля 1939 года. Расстрелян в феврале 1940 года.

У Ивана Александровича в кабинете стоял прекрасный письменный стол на львиных лапах, из реквизированных, конечно. На столе – ценный хрустальный письменный прибор. Иван Александрович, бывало, и внимания на них не обращает – ну поставили ему на рабочее место, и пускай. Фриновский пристал к нему – подари мне этот прибор. Иван Александрович отдал с недоумением. Потом и письменный стол перекочевал к Фриновскому.

– Знаешь, он метит на мое место, – сказал мне Иван Александрович. Но Фриновский делал вид, что заботится о нас.

– Что вы ютитесь в коммуналке? На третьем этаже освобождается очень хорошая отдельная квартира. Там живет Петрякин, его снимают с работы, он уже знает. С квартиры сселим, – он усмехнулся с видом вершителя судеб, – вот вы и займете вакантную. Приходите посмотреть.

Непонятно как-то было – при еще живущих хозяевах, но Фриновский уж так пристал, так настаивал, утверждая, что все равно кого-то вселят. И мы пошли.

Сперва заглянули к Фриновским на второй этаж. Жена его<sup>31</sup> встретила нас недоброжелательно, мне это не понравилось... Я говорю потом Ивану Александровичу:

– Ты думаешь, мы получим эту квартиру? Ни черта мы не получим!

Так оно и вышло. Зарницкого сняли, Фриновский – на его место, а квартира – ну какое снятый с должности, разжалованный Иван Александрович имел на нее право! Мы и из особняка ОГПУ выехали, сняли две комнаты в другом районе.

Еще когда Зарницкий был начальником штаба, Фриновский пытался ухлестывать за мной. Как-то Иван Александрович уехал в командировку, Фриновский его замещал в штабе. Я пошла просить билеты в театр (нам их давали в штабе). Пришла, Фриновский чуть не расшаркался – сейчас, сейчас принесу!

И вернулся, да не один, а с Коганом, билеты мне вместе принесли, оба заигрывают, масляными глазками меня так и сверлят.

– Мы к вам чай пить придем!

Я отрезала:

– Нет, я без мужа никого не принимаю!

А затем он – рыбка толстая – сел на место Ивана Александровича. Да он с самого начала все знал, что сядет, знал, что Иван Александрович – попович, что снимут. Донесения, вероятно, делал такие, чтобы опорочить, неблагоприятные, а сам мысленно руки потирал: “Скоро я на его место!” – и поигрывал с нами, как кошка с мышкой.

Или все-таки неудобно ему было, он и лебезил, угодничал, чтобы впечатление было – я, мол, ни при чем, я всей душой!..

О Фриновском я вам еще много порасскажу.

8 Иван Александрович пошел работать в милицию. Черная форма, красные околышки. Это было совсем не то, что в Красной армии. Как бы на много ступеней слетел вниз: и форма не та, да и не так почетно. Но хоть работа была не опасная. В то время было много бандитов, но арестовывать их, “брать” Иван Александрович не ходил. Ему поручили всю писанину, ну почти как начальнику протокольного отдела, что ли...

Приехала к нам из Майкопа Верочка, уже взрослая девушка. Мы были дружны семьями. Прежде, когда папа был управляющим магазинами, Верочкин отец служил там старшим приказчиком.

Верочка прекрасно играла на рояле, очень хорошо пела. Приехала в Ростов совершенствоваться по фортепьяно и по вокалу, брала уроки у наших знаменитых преподавателей.

---

<sup>31</sup> Фриновская Нина Степановна (1903–1940) – жена Михаила Фриновского. Арестована 12 апреля 1939 года. Расстреляна в феврале 1940 года.

*Рассказ Веры, подруги Агнессы:*

Я жила у Агнессы и вносила свою долю. Я прожила у них три месяца.

Они жили тогда небогато, помню, когда Агнессе удалось купить где-то черный крепдешин, это был настоящий праздник, она в восторге писала подругам в Майкоп об этом крепдешине и о том, что она из него сошьет.

Иван Александрович работал в милиции писарем, но он вообще хотел уйти со всякой военной работы и поступил на курсы бухгалтеров. Занятия были вечерние. Агнесса тоже туда поступила, но Иван Александрович кончил, а она – нет, терпения не хватило. Она иногда где-то работала, потом уходила. Работать ей казалось скучно.

Иван Александрович был очень пунктуален, очень собран, аккуратен. Помню, как я удивилась, когда однажды увидела его записную книжечку, а там было: “Верочке – 5 коп. на трамвай, Марии Ивановне – 10 коп. на свечку...” и т. д.

Я удивилась, что он досконально учитывает такие мелочи, записывает. Может, он был скуп? Не думаю. Просто, наверное, бюджет у них был так напряжен, что ему с трудом удавалось сводить концы с концами, балансируя на этих копейках.

Он был высокого роста и еще довольно строен, но начал полнеть.

Вечерами, когда не было занятий на курсах, мы ходили гулять по улицам. Иван Александрович в центре, мы с Агнессой по бокам – он вел нас под руки. Он был в милицмейской форме, и никто не смел к нам приставать.

Мы шли по вечерним улицам Ростова. Из подворотен нет-нет да и показывались проститутки, высматривали клиентов. Агнесса все время оглядывалась на них – уж очень ей было интересно.

С Иваном Александровичем, мне казалось, живут они душа в душу. Агнесса, бывало, все вокруг него ласково воркует: “Муша, Муша!” – так она его называла с нежностью.

И вдруг она с заговорщическим видом сказала мне:

– У меня есть к тебе секретная просьба. Отнеси, пожалуйста, письмо в гостиницу и там отдай его в пятнадцатый номер Ми-ро-но-ву. Запомнила? Но никому ни слова, хорошо?

Я, конечно, обещала молчать, но мне это было так странно, так неловко, так непонятно, я идти никак не хотела, страшно стеснялась. Но Агнесса меня уговорила. Адресата, к моему счастью, не оказалось (а то бы я сгорела от неловкости), и я отдала письмо швейцару, чтобы тот передал.

Лена уже тогда жила в Ростове, но как бы в пригороде, в деревне, за пустырем – Нахичевань. И вот раз Агнесса сказала, что пойдет ночевать к Лене, и ушла... И вдруг вернулась в два часа ночи. А я уже после этого письма в гостиницу начала все понимать и очень волновалась. Сейчас, думаю, все проснутся и догадаются, что она была не у Лены. Но ничего. Утром она сказала, что задержалась у подруги и побоялась идти к Лене через пустырь, поэтому и возвратилась домой. Все поверили без малейших сомнений, только мне она лукаво подмигнула, и я поняла, что мои тревожные догадки верны.

Как же я волновалась, что вот-вот что-то откроется, и будет скандал, и будет так стыдно, так стыдно! Но ничего не открылось.

9 Иван Александрович работал в милиции, а затем ему сказали: у вас высшее образование, вы человек знающий, толковый. Лучше вам пойти в промышленность, у нас не хватает грамотных людей.

И послали его на обувную фабрику заместителем директора. Но фактически директором был он, всеми делами вершил, потому что в директорах там был малограмотный выдвиженец, который ничего не понимал, ничего не делал, только шумел и ругался матом.

Вскоре Иван Александрович стал приходить очень мрачным. Наш *ге-ни-аль-ней-ший* [с презрением и ненавистью – это Агнесса о Сталине] тогда начинал кампанию против вредителей и саботажников<sup>32</sup>. Обнаружили “вредительство” и на обувной фабрике. Нашли какие-то сопревшие кожи и тут же состряпали дело. Якобы кожи опрыскали каким-то раствором, способствующим гниению, и дали им залежаться, а лаборатория делала фальшивые анализы – признавала годным то, что не годилось.

Обвинили во всем Ивана Александровича и с ним еще нескольких человек. Лет через пять они ни минуты не пробыли бы на свободе с таким обвинением, но тогда еще были другие времена, и их до суда не арестовали.

Главным “вредителем” сделали Ивана Александровича. Ну, конечно же, беспартийный, попович, с отцом связь поддерживает – как же не вредитель!

Назначили суд. Иван Александрович на работу не ходил, сказал нам с мамой: “Десять дней меня не трогайте”. Десять дней оставалось до суда.

Он сел за стол, обложился бумагами, справками, отчетами и все десять дней готовился защищать себя и других на суде. Ему разрешили защищаться самому. Он был очень аккуратен, собран – Иван Александрович. Все бумажки подобрал, разложил, распределил, рассортировал.

И вот суд. На скамье подсудимых Иван Александрович и его сослуживцы. Иван Александрович подтянутый, чисто побритый, в полувоенном, держится прямо. Один вид его сразу производил впечатление.

Допрос. Судья спрашивает имя, фамилию, кто отец... Иван Александрович прямо, громко:

– Поп!

Заметьте, не “священник”, а “поп” – четко, мне показалось, с вызовом, а может, наоборот, на их языке – не прятаться за форму, не смягчать.

Сперва обвинение. Всякого бреда накуролесено.

А “свидетели” подтверждают.

Иван Александрович просит слово. Дали.

– Разрешите зачитать справку?

Читает официальную бумагу. Он, Зарницкий Иван Александрович, зачислен на фабрику в мае 1927 (или 1928?) года. А кожи-то прогнили раньше!

Крыть нечем. Сразу весь бред этот, что обвинитель и свидетели несли, бит. От него и перышка не осталось. Впечатление в зале! Судья:

– Подшить к делу!

Потом начали про лабораторию, какие там липовые анализы делали, безграмотные; все это, конечно, клонят к саботажу и вредительству. Но Иван Александрович опять:

– Разрешите зачитать?

В зале сразу все стихло – уже ждут с напряжением, как он сейчас “отбреет”. И верно. Зачитывает Иван Александрович свой приказ – четко, кратко. Приказ зам. директора, в котором камня на камне не оставляет от работы лаборатории: анализы такие-то и такие-то сделаны неквалифицированно, то есть понимай – халтура, безграмотно, попросту липа. И в результате такие-то и такие-то недочеты. В конце его, Ивана Александровича, заключение: переменить весь стиль работы, анализы делать строго, объективно (то есть не давать то, что в лагере у нас называлось “туфта”).

Судья:

– Подшить к делу!

---

<sup>32</sup> Вероятно, это 1928 год, после так называемого Шахтинского дела, процесса над “вредителями” в угольной промышленности. После процесса повсюду началась широкая кампания по борьбе с “вредителями” в промышленности.

И пошло. Обвинение – ушат лживой грязи. Иван Александрович – официальный документ, точный, четкий. И вся эта грязь, сразу всем видно, – сплошная ересь. Впечатление – как в театре или на ринге. В зале уже с нетерпением ждут, как будет Иван Александрович парировать, ждут, затаив дыхание, знаете, как выхода сильного актера или борца, ждут эффекта. А Иван Александрович – ну я просто любовалась! – само воплощение разума.

Так бил их Иван Александрович три дня, пока длился суд. Голос спокойный, официальный, не громкий, но, как скажет, – сама истина. В зале тишина.

Остальные подсудимые в первый день пришли небритые, опустившиеся, хвосты повесили, еле чего-то бормотали. Но по мере того, как Иван Александрович разрушал одно обвинение за другим, они головы подняли, приободрились, и уже на следующий день все были побритые, хорошо одетые, головы держат прямо.

И всем уж ясно, что соптели кожи и прочее по вине директора, его разгильдяйства, халатности, невежества. Но его и не подумали обвинить – выдвиженец<sup>33</sup>! Пролетариат! Разве он может быть вредителем? И подозрение на него не пало. А что невежество, так ведь это понятно, оправданно – пролетарского происхождения, “академиев”-институтов не кончал – где же ему было знаний-то набраться?

Но симпатии уже с первого дня были на стороне подсудимых, и когда суд их оправдал, в зале загремели аплодисменты.

Судья улыбнулся Ивану Александровичу, а затем и мне. Он меня с первого дня заметил, проследил взглядом, как Зарницкий переглянулся со мной после первой же победы.

Я преклонялась перед силой разума Ивана Александровича.

Но когда я с восторгом рассказала Мироше о суде, он вдруг нахмурился, словно его стегнули.

– И я мог бы так! – сказал он самолюбиво. Но сейчас я вам расскажу о Мироше.

---

<sup>33</sup> Выдвиженец – так называли людей без образования, выдвинувшихся на руководящие посты.

## Мироша

1 Мирошей Сережу звали в семье, друзья, близкие. Настоящее имя его было Мирон Иосифович Король. Но он взял псевдоним (тогда многие так делали) и стал Сергеем Наумовичем Мироновым<sup>34</sup>.

Впервые я увидела Мирошу на митинге в Ростове. Было это, вероятно, в 1923 или 1924 году. Иван Александрович еще служил начальником штаба погранвойск Северного Кавказа.

Митинг проводили по поводу годовщины Красной Армии. Ораторы были малокультурные, неинтересные – наши ростовские, партийные.

И вдруг на трибуну поднялся совершенно незнакомый мне человек, весь в черном, в кожаном, в фуражке, с наганом у пояса. Говорил он что-то про мировую революцию, про интервентов, которых отогнали, но которые зарятся опять на нас напасть. Я не слушала, просто любовалась его сильным, красивым лицом. У него были прекрасные карие глаза и удивительные ресницы – длинные, густые, загнутые, как опахала. И выражение лица хорошее – доброжелательное, располагающее.

Насчет красивых мужчин у меня вообще предубеждение. Они слишком нравятся женщинам, это их балует, и они бывают чрезмерно заняты своими победами. Я и тогда сразу отсекала всякий интерес к выступавшему.

Но дома я все-таки спросила Ивана Александровича: “Муша, кто это?” Он сказал: “Это один из командиров, которые приехали с Евдокимовым”<sup>35</sup>. И я о нем забыла.

Но вот однажды нас, жен военнослужащих, вызвали в штаб и объявили, что мы занимаемся только нарядами и домашними делами, а это есть мещанство, и мы должны подтянуться к своим мужьям, а для начала стать политически грамотными. И назначили школу, куда мы должны каждый вторник к пяти часам являться, не опаздывая, на занятия по политграмоте с карандашом и тетрадкой для конспекта.

Иван Александрович сказал мне, что я его скомпрометирую, если не буду ходить, и я в ближайший вторник точно в пять часов пришла.

И вот мы сидим и болтаем, а сами оглядываем друг друга, кто как одет, у кого какой кулон на шее, у кого ожерелье – из настоящего жемчуга или поддельного и т. п. Многие были одеты богаче, чем я, но безвкусно, и я думала, что вот вещи на таких пропадают и как бы все это смотрелось, если бы это надела я.

И вдруг входит преподаватель, и я его тотчас узнаю – тот командир, который выступал на митинге! Но теперь уже без фуражки, и я его разглядела лучше. Породистое лицо, высокий лоб, изогнутые брови, чуть прищуренные улыбающиеся глаза необычной формы (верхние веки дугой, нижние – прямые) и эти удивительные ресницы – мохнатые, длиннющие, загнутые. На щеках ямочки. Крупный, красивой формы рот, ровные белые зубы, волосы густыми волнами обрамляют лицо. Широкоплечий, сильный, походка стремительная, крепкая.

Он улыбнулся нам, улыбка у него оказалась обаятельная, и, смотрю, все наши дамы так и замерли...

Назвался “Миронов”, имени и отчества не сказал – тогда это было не принято – и объяснил, что ему поручена такая общественная работа: беседовать с нами на политические и общемировые темы. И стал рассказывать, что наша революция – первая в мире, единственная,

---

<sup>34</sup> *Миронов Сергей Наумович (Король Мирон Иосифович)* 1984–1940 – крупный чекист, с декабря 1936 начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края, с августа 1939 полномочный представитель СССР в Монголии. Расстрелян 22 февраля 1940.

<sup>35</sup> *Евдокимов Ефим Григорьевич* (1891–1940) – видный чекист, один из ближайших соратников организатора Большого террора Николая Ежова. Арестован и расстрелян вместе с Н. Ежовым. В то время, про которое рассказывает Агнесса, назначен полномочным представителем ОГПУ на Северном Кавказе.

что ее нужно защищать всеми силами нашей Красной Армии, потому что пролетариат других стран что-то запаздывает с мировой революцией, а капиталисты не дремлют.

Посмотрела я на наших дам, а они глаз с него не сводят. Я тотчас поняла, что они все в него влюбились, даже старались записывать. Ну тут уж меня задело! Неужели я ударю лицом в грязь, неужели окажусь хуже, например, Нюски с ее песцом на плечах (и это в такую жаркую весну! Ну как же люди не понимают, что надо одеваться по сезону!)?

Я тоже стала записывать. Записи эти были через пень-колоду, я не успевала, но дома я попросила Ивана Александровича разъяснить мне получше, вообще поднатаскать меня. Он был очень рад, что я его не опозорю.

В следующий раз Миронов стал нас вызывать и спрашивать по прошедшей беседе. Вызвал Нюску. Слышу, зазубрила про мировую революцию и “сицилизм”, а дальше ни тпру ни ну. А я прямо изнемогаю от нетерпения – неужели не вызовет, ведь я-то все знаю! Не выдержала, подняла руку. Миронов кивнул мне – дал слово, и я так отбарабанила ему про интервенцию и зловредную Антанту, что он нахвалиться не мог и всем нашим дамам поставил меня в пример.

И вот я у него в первых ученицах, всех обставила. Теперь он на меня все поглядывает и, как только опрос начинается, все меня вызывает, или вопросы по ходу беседы ко мне летят, или, рассказывая, нет-нет да и посмотрит на меня.

Вот когда я была политически грамотной! Единственный раз в жизни. Боже мой, у другого я эту скучищу и слушать бы не стала! Но даже скучищу эту Миронов преподносил интересно. Мироша, Мироша, какой же он был способный!

А потом как-то... южный наш город... теплые весенние сумерки, мы расходимся после занятий по домам, и вдруг нагоняет меня и уже рядом со мной – Миронов. Погода прекрасная, домой не хочется, мы пошли в парк. Помню, он вдруг стал сочинять стихи сразу, экспромтом... Так мы стали встречаться.

Было у нас любимое место – в конце нашей улицы за поворотом, на спуске к реке. Там рос молодой тополь, его каждую весну подстригали, чтобы не заносил он своим пушистым семенем улицу, и он топорщился ветвями, как колючий шар. Оттуда мы уходили бродить по пустым вечерам улочкам, подальше от моего дома – или в рощицу у реки, или в глухие аллеи парка. И даже зимой, когда пронизывал ненастный ветер, мы не замечали непогоды.

Я уже знала, что Мироша воевал на польском фронте у Буденного<sup>36</sup>, а став чекистом, получил орден ВЧК<sup>37</sup> от Феликса Эдмундовича<sup>38</sup>. Забегая вперед, скажу, что к годовщинам Красной армии или ВЧК он получал и дружеские письма от Семена Михайловича и именные подарки, например, золотые часы или маузер.

Миронов рассказывал мне о себе.

Он был родом из Киева. Был там такой район – Шулявка, это как в Одессе Молдаванка. Воры, бандиты, биндюжники, “золотовозы” – кто там только не жил! Жили там и евреи, жили деды и прадеды Мироши.

Когда благосостояние семьи трудами бабушки Хаи улучшилось, семья с Шулявки переехала. Бабушка Мироши Хая была известна своей добротой и энергией. Она всем, чем могла, помогала нуждающимся, и все ее знали и чтили. Ее называли “шатым-малых”, что значит “ангел-хранитель”. Она содержала на Крещатике молочную, которая славилась свежестью и превосходным вкусом продуктов. Мирошу и сестру его Феню она сумела устроить в одну из лучших гимназий Киева, но Мироша, хотя и очень способный, учился неохотно. Отчаянный

---

<sup>36</sup> Буденный Семён Михайлович (1883–1973) – советский военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой конной армией, один из первых маршалов.

<sup>37</sup> Знак “Почетный работник ВЧК – ГПУ”.

<sup>38</sup> Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – революционер, советский государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель ВЧК.

сорванец с детства, превратившись в юношу, красивый и сильный (он запросто гнул монеты), Мироша стал героем молодежи.

С грустью рассказывал он мне о своей первой любви. Девушки поклонялись ему, и он обратил внимание на Марусю, но потом изменил ей, а она не перенесла его измены и отравилась. Мироша этого не мог забыть, и, когда пели песню “Маруся отравилась”, у него, даже много лет спустя, на глаза навертывались слезы...

Еврею трудно было поступить в высшее учебное заведение. Надо было иметь золотую медаль и “попасть в процент”<sup>39</sup>. Но и это благодаря бабушке Хае удалось преодолеть, и к началу Первой мировой войны Мироша стал студентом Коммерческого института.

В 1915 году Мирошу призвали в армию. Он горел патриотическим чувством и желанием воевать за “веру, царя и отечество”. Я думаю, что и – отличиться на войне. Это ему удалось. Он был призван простым солдатом, но вскоре сумел выделиться. Когда в 1916 году высочайше было разрешено евреям – но только лучшим из лучших! – присваивать офицерские звания, он сразу получил звание прапорщика, а к 1917 году был уже поручиком.

Но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять, но с его характером не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию. В Первой конной Буденного<sup>40</sup> Мироша сразу отличился, был выбран красным командиром, а в 1925 году вступил в партию<sup>41</sup>.

Революция ему, еврею, открыла все дороги. Это оказалась его революция. Он быстро шел в гору. Азартный, увлеченный человек, он был баловнем жизни, ему все удавалось. Красота его уже не тревожила меня, я поняла, что он ее не замечает, не ценит, то есть, конечно, он знал о ней, но чтобы пользоваться ею, царить среди женщин – это было ему не нужно. Его всегда интересовали только мужские дела.

Так мы встречались целый год, и ничего между нами не было. А я и не хотела быстрого сближения.

Потом Сережа уехал и прислал мне письмо: “Ты, наверное, сочла меня за гимназиста”. Но больше писем не было. И я не понимала, что это значит. Забыл меня, встретил другую?

Прошло несколько месяцев, и вдруг неожиданно моя подруга Сусанна тихонько сует мне записку:

“Приходи в 6 часов на наше место. Сережа”.

Он стоял под топодем и курил, поглядывая по сторонам. Как описать эту встречу! Помню каждый взгляд, каждое слово.

Я к нему подошла, он вдруг увидел меня, блеснул смеющимися счастливыми глазами, бросил папиросу, и мы, ни слова не говоря, пошли вниз к реке, в нашу рожицу. Но я успела заметить на его гимнастерке орден Боевого Красного Знамени. Тогда это был самый главный военный орден, и заслужить его было нелегко. Орден этот сразу вознес его в моих глазах в герои. Как это действует на женское воображение, не сам орден, конечно, а то мужество, которое за ним видится!

Едва мы оказались на скамейке в тени деревьев, я поздравила его и стала спрашивать, как и за что его наградили. Сереже расспросы мои были приятны, лестны. Приехать ко мне и показаться с высшим военным орденом для него, вероятно, было упоительно. Но отвечал он мне сперва уклончиво. Горделиво отшучивался, бросал небрежно, мол, это военные дела, мужские, и распалял мое любопытство все сильнее.

---

<sup>39</sup> Имеется в виду процентная норма, которая ограничивала прием евреев в высшие учебные заведения царской России.

<sup>40</sup> Первая конная армия (Конармия) – высшее оперативное объединение (Конная армия) кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918–1920 годов.

<sup>41</sup> Миронов вступает в партию сравнительно поздно по тогдашним понятиям. Но его чекистская карьера без этого не могла продолжаться.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.